В. РОПШИН

(Б. САВИНКОВ)

КОНЬ ВОРОНОЙ

СТРОЙБАТ

СЕРГЕЙ КАЛЕДИН

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Б. В. Савинков (1879—1925) — с 1903 г. эсер, руководитель многочисленных террористических актов. С первых же дней Октября участвовал в антисоветских заговорах и контрреволюционных мятежах. Эмигрант. В 1924 г. вернулся в Россию и был арестован ОГПУ. Автор нескольких повестей и романов: «Конь бледный» (1909), «То, чего не было» (1914) и т. д.

Повесть «Конь вороной» (1923) печатается по изданию: «Юность», 1989, № 9.

Сергей Каледин — родился в 1949 г. в Москве. Закончил школу экстерном. Служил в стройбате. Получил высшее образование в Литературном институте им. А. М. Горького. Первое произведение — повесть «Смиренное кладбище» — опубликовано в 1987 г.

Повесть «Стройбат» печатается по изданию: «Новый мир», 1989, № 4.

Александр Кабаков — родился в 1943 г. Закончил Днепропетровский университет. Работал в газете «Гудок». Ныне — обозреватель «Московских новостей». Писал юмористические рассказы. В 1989 г. вышла первая книга автора «Заведомо ложные измышления».

Повесть «Невозвращенец» публикуется по изданию: «Искусство кино», 1989, № 6.

В. РОПШИН
(Б. САВИНКОВ)

КОНЬ ВОРОНОЙ

СЕРГЕЙ
КАЛЕДИН

СТРОЙБАТ

АЛЕКСАНДР
КАБАКОВ

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Повести

Ижевск
„Удмуртия"
1990

ББК 84Р7—4
Р73

Ропшин В. (Б. Савинков). Конь вороной / **Каледин С.** Стройбат / **Кабаков А.** Невозвращенец: Повести.— Ижевск: Удмуртия, 1990.— 200 с.
Р73

ISBN 5-7659-0275-8

Повести, включенные в сборник, входят в число наиболее заметных и острых журнальных публикаций 1989 года.

Герой повести Б. Савинкова «Конь вороной», белый офицер, мучительно размышляет о судьбе России, о том, не напрасны ли кровь и братоубийство в гражданской войне.

Повесть С. Каледина «Стройбат» посвящена непростым проблемам современной армии.

«Невозвращенец» А. Кабакова — антиутопия, предупреждающая об опасности, которая нас подстерегает, если антиперестроечные силы возьмут верх.

Р $\frac{\textbf{4702010201—071}}{\textbf{М134(03)—90}}$ **без объявл.** **ББК 84Р7—4**

В. РОПШИН
(Б. САВИНКОВ)

КОНЬ ВОРОНОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Повесть эта была написана мной за границей, в 1923 году. Я описывал либо то, что пережил сам, либо то, что мне рассказывали другие. Эта повесть не биография, но она и не измышление. Первоначально я хотел ее озаглавить «Федя», потому что Федя, мне кажется, является главным ее героем. Федя, не разумеющий, почему он борется против большевиков, и в то же время ненавидящий их, был везде, на всех фронтах, во всех «белых» армиях, во всех «зеленых» отрядах и в каждой тайной организации. В нем воплотились его же слова: «Неизвестно, за что воюем...» Это «неизвестно, за что воюем» владеет и Жоржем, владеет и Вреде. «За Россию»... Но за какую Россию? «Ведь те и другие — мы»... Только один Егоров твердо знает, за что проливает кровь. Но Егоров весь в прошлом. Ему чужда новая, рождающаяся в России жизнь.

Субъективно, конечно, все правы. Правы «красные», правы «белые», правы «зеленые». Поэтому я и назвал повесть не «Федя», а «Конь вороной»: «И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Меру, то есть непоколебленные весы. Ибо чаши весов не колеблются оттого, что Жорж, или Вреде, или Федя не ведают, что творят.

Но объективно правы либо те, либо другие — либо «красные», либо противники их. На этот вопрос моя повесть не дает прямого ответа. Но он ясен. Народ, миллионы крестьян и рабочих,— не с Жоржем, даже не с Грушей.

И субъективно не поколебленные весы объективно склоняются одной своей чашей, той, на которой «последняя и решительная» борьба за жизнь и благоденствие трудового народа. То есть, не чашею Жоржа.

Б. Савинков (В. Ропшин)

Сентябрь 1924.
Внутренняя тюрьма.

«...И вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей».

Откр. VI, 5.

«...Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза».

Иоанн. II, 11.

I

1 ноября.

Очень хотелось спать, но я сделал над собою усилие и приказал привести Назаренку. Он вошел, высокий, в желтой кубанке, и стал на пороге во фронт.

— Садись.

— Постою, господин полковник.

— Садись, вот здесь, напротив меня.

Он для приличия потоптался у двери. Потом сел на краешек стула.

— Ты рабочий Путиловского завода?

— Так точно.

— Я взял тебя на бронепоезде «Ленин»?

— Так точно.

— Что я сказал тогда? Повтори.

Он задумался и поднял глаза.

— Вы сказали, что каждый может служить; кто не хочет, того расстреляют...

— Нет. Я сказал: кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу... Так?

— Так точно.

— А теперь я знаю, что ты коммунист.

Он вздрогнул.

— Сознавайся, кто еще в комячейке?

— Не могу знать, господин полковник.

— А что с тобой будет, знаешь?

— Воля ваша.

— Хорошо. Ординарцы!..

Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя.

— Ординарцы! Полтораста плетей!

Когда его увели, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный переход на морозе, и сосновый, запорошенный инеем бор, и багрово-желтая дубовая роща, и скрип седел, и гнедая кобылка Голубка. Но за стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал содрогаться воздух.

— Господин полковник!

«Сорок два... Сорок три... Сорок четыре»... Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме, у незнакомого и перепуганного попа. В сенях грубый голос сказал: «Ишь, ворочается... Нá голову, Федя, садись»... Это «работал» Егоров.

2 ноября.

Егоров — седобородый крестьянин, пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это — «бабье дело», а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него:

— За что ты их ненавидишь?

— Кого?

— Коммунистов.

— Бесòв-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили... Даже пес жалеет своих щенят... На кострах жарить их надо.

— Да ведь белые за помещиков.

— Так чего? Мы помещикам головы-то открутим.

— Когда?

— А вот время придет.

Он дослужился до вахмистра и очень горд своим

званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородою:

— Язва. Отстань. Я не за бар — за Рассею.

За Россию... До войны он, наверное, говорил: «мы — скобари», и знать не хотел «калуцких». А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России «бесòв».

3 ноября.

Городишко, где мы стоим, убог и неряшлив. Он утонул в сыпучем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день, вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, мудрый, ворует в тылу.

На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах. Евреев почти не видно. Евреи ушли в леса, со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.

Погромы, грабежи и насилия запрещены строжайшим приказом. За нарушение — смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца; что ротмистр Жгун разгромил еврейскую лавку; что у улан завелась валюта — американские доллара́? что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял. Но ведь нельзя расстрелять половину полка.

Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, починяя его, и, наконец, с ожесточением плюет. Потом начинает негромко:

Полюбили сгоряча
Русские рабочие
Троцкого и Ильича,
И все такое прочее...

4 ноября.

Федя — художник. В свободное от «занятий» время он рисует «картинки». Одну из таких «картинок» он принес мне сегодня. Он написал свой портрет. Те же волосы огненно-рыжего цвета, тот же сплюснутый нос, те же смущающие глаза: один мертвый, выбитый пулей, другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, но с кубиками и с пятиконечной звездой. Подписано: «Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин».

Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву. На самом деле он бывший бакалейный торговец, владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:

— Граммо-граммо-граммофон... Пате-пате-патефон... А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать?

5 ноября.

Я приказал оседлать Голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, звонко цокая по дождевым лужам. День был ненастный и теплый. Со свистом носился ветер. Разорванные черно-лиловые облака низко опускались на землю.

Я люблю простор широких полей. Я люблю синеву далекого леса, оттепель и болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский, потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом земли. Здесь нет и не нужно Европы — скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца до-

рог. Здесь — «не белы снеги», безрассудство, буйство и бунт.

Я остановился на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойная и глубокая. Ее пустынные воды сверкали инеем ломкого льда. Слезился ржавый кустарник, нога скользила в мокрой траве, и Голубка, мягко ступая, тыкалась мне мордой в плечо. Я слышал ее дыхание, и мне казалось, что и она, и нависшее небо, и Березина, и шуршащий тростник, и я — одно неразделимое целое, единый, замкнутый и непознаваемый мир... И мне вспомнилась Ольга. Она вспомнилась мне такой, какой я видел ее когда-то, в Москве, — в белом платье и соломенной шляпе. Где Ольга? Что с нею?

6 ноября.

Россия — Ольга, Ольга — Россия. Если не будет Ольги, моя влюбленность в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России, моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги все равно что влачиться с Ольгой в изгнании — влачиться на «поломанных крыльях», дрожа и «прижавшись к праху».

7 ноября.

Вчера у меня в саду повесили Назаренку. Он не сознался. Он, как зверь, отлеживался на кухне. Верил ли он, что умрет?

Был восьмой час утра. Всходило холодное солнце. За ночь выпал пушистый снег и замел песок на дорожках. Назаренко вышел с Егоровым на крыльцо. Потом, поеживаясь и жмурясь, стал под березу. На березе, на догола обнаженном суку, верхом сидел Федя. На улице молча толпились уланы.

— Начинай.

Назаренко глубоко вздохнул. Он был без шапки, в короткой, белой, расстегнутой на шее рубахе. Егоров толкнул его в бок.

— Лоб-то... Лоб-то перекрести, сукин сын.

Я видел, как быстро, быстро задвигались пальцы и зашевелились синие губы. И я скорее почувствовал, чем услышал:

— Господин... Господин полковник!..

Но Егоров угрюмо сказал:

— Даже помереть не умеешь. На что крестишься?.. Крестись на восход.

Федя накинул веревку. Подогнулись худые колени, и голова опустилась вниз. Повисло длинное, бессильное тело. Федя спрыгнул, дернул за ноги и закричал на улан:

— Чего не видели? Расходись!..

8 ноября.

Поручик Вреде, гусар, провел всю войну на фронте, ходил на проволоку в конном строю, был ранен и заслужил Георгиевский крест. Коммунисты посадили его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал. Он командует вторым эскадроном.

Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и курит. Он совсем еще мальчик, белокурый, с розовыми щеками и детским пухом вместо усов.

— Юрий Николаевич, почему мы стоим в этой дыре?

— Приказано.

— А скоро пойдем вперед?

— Когда прикажут.

Он хмурит тонкие брови.

— Надоело.

— Идите один.

— Вы всегда надо мной смеетесь.

— Смеюсь? Бог с вами, Вреде... Если бы мне надоело, я бы ушел.

— Куда?

— В лес.

Скудеет день, загорелись первые звезды. За окном морозная ночь. Вреде ходит из угла в угол.

— Нас было три сестры и два брата, и отец, генерал. Мать скончалась давно. Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца расстреляли, старший брат убит на Кавказе, а о сестрах я ничего не знаю. Имение разгромили, конечно... Ну, вот... Отца и брата я им простить не могу...

— У Назаренки тоже, наверное, есть брат.

— У Назаренки?.. Так ведь он коммунист.

— А вы белый?

— Да, белый. Я за Россию.

Я улыбаюсь:

— И за усадьбу?

— За усадьбу? Нет... Черт с нею, с усадьбой. Я не горюю: пусть разживаются мужики.

Федя вносит зажженную лампу. Погасли звезды в окне, запахло махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и говорит, вытирая жирные пальцы о скатерть:

— И разживутся, и попользуются, господин поручик... Уж такой, стало быть, вороватый народ...

9 ноября.

У Егорова сожгли дом и убили сына. У Вреде убили отца. У Феди убили мать. Я понимаю, за что они ненавидят. Но за что ненавижу я?

У меня нет дома и нет семьи. У меня нет утрат, потому что нет достояния. И я ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно ездит к Яру — пьяный великий князь или пьяный матрос с серьгой: ведь дело не в

Яре. Мне все равно, кто именно «обогащается», то есть ворует,— царский чиновник или «сознательный коммунист»: ведь не единым хлебом жив человек. Мне все равно, чья именно власть владеет страной — Лубянки или Охранного Отделения: ведь кто сеет плохо, плохо и жнет... Что изменилось? Изменились только слова. Разве для суеты поднимают меч?..

Но я ненавижу их. Враспояску, с папиросой в зубах, предали они Россию на фронте. Враспояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык. Оскверняют самое имя: русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина — предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуют чужим наследием — не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве...

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу —
И убей!

10 ноября.

Москва... Москва — начало и конец моей жизни. Без Москвы, без ее кривых переулков, Христа Спасителя, Арбата и Кремлевских ворот, без ее богатства, славы, унижения и нищеты, нет родины, а значит, нет и меня. «Горят кресты на церквах, скрипят по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная».

Верю ли я в победу? В тылу тупоумие, взятки и воровство — слепорожденные мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой — не воины в белых одеждах, а двойники своих же врагов. Я боюсь, что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно. Метнемся, потому что корыстно любим Москву.

11 ноября.

Слава богу, мы выступаем. Из штаба армии получено приказание идти на Грабово и Бобруйск. Я велел отслужить молебен. Гололедица. Сеет дождь. Снег растаял на мостовой и смешался с желтым песком. Бурая грязь налипает на сапоги, липнет в руках кубанка. Священник вяло бормочет: «О мире всего мира и о спасении душ наших господу помолимся...», и Федя в мокрой шинели тянет вместо дьячка: «Господи помилуй, господи помилуй, господи поми-луй...» Уланы крестятся. Многие стоят на коленях. Один Егоров остался дома. Он согрешит, если будет молиться с нами: мы «нехристи» и «еретики».

12 ноября.

Входит Вреде. Он взволнован. Голос его дрожит:

— Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу. Что мы, погромщики, в самом деле?.. Вы знаете, что случилось?

— Что?

— Жгун застрелил еврея.

— Из-за чего?

— Из-за денег.

Ротмистр Жгун — храбрый и исполнительный офицер. Но он грабитель. Он не говорит: «ограбил» или «украл», а говорит «покупил» шубу, «покупил» кольцо, «покупил» сапоги. Это же слово повторяют за ним и уланы. Пока не было крови, я закрывал поневоле глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо.

— По ко́ням!

Федя подает мне Голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди, на высоком, сером в яблоках, жеребце, ротмистр Жгун. Я узнаю высокого жеребца: он взят в бою у красного офицера.

— Ротмистр Жгун!

— Я.

У него добродушное, красное, с рыжими усами лицо. Ему лет 40. Он из вахмистров царской службы.

— Вы убили еврея?

— Так точно.

— За что?

— Да ведь жид, господин полковник.

— Я спрашиваю: за что?

Он побагровел, но не произносит ни слова. Я говорю трубачу:

— Трубач, за что ротмистр Жгун застрелил еврея?

Трубач потупился: боится начальства. Но я настаиваю:

— Я приказываю тебе. Отвечай.

— За часы, господин полковник.

— Вы слышали, ротмистр Жгун?

Он молчит. Он «ест» меня по-солдатски глазами... Тогда я говорю:

— Расстрелять.

Я поворачиваю Голубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и Федя уже стаскивают его с седла и ставят тут же, у поповского дома, к стене. Я жду. Я жду недолго. Трещат два выстрела. Я командую:

— Справа по три. За мной! Шагом... ма-арш!

13 ноября.

Я помню: я познакомился с Ольгой случайно, я шел по Петровскому парку. Был один из тех хромоногих дней, когда тревожит ненужная память и не смываются «печальные строки». Я встретил девушку. Она спросила дорогу. Мы долго шли рядом. Я молчал. Я молчал, потому что мне было жутко,— жутко моей сердечной тоски. А потом... Потом я наклонился к ней и взял ее руку. Но

она посмотрела мне прямо в глаза так доверчиво и так ясно, что я смутился. И в смущении зародилась любовь.

14 ноября.

Просека. Лесная дорога. Кругом густой и частый, дремучий бор. Не скрипнет ель, не дрогнет подгнивший сучок, не хрустнет, падая, ветка. Пофыркивают негромко кони, и гулко и ровно постукивают сотни копыт. Изредка Федя, закуривая, чиркает спичкой. Изредка я вполголоса говорю: «Под ноги налево... Под ноги направо»... и взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, 1-й Уланский полк. Идем к Березине.

Расступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где, среди колючей травы, еще алеет брусника. На болоте пасется стадо. Мычат коровы. Пастух в дырявом тулупе тупо смотрит нам вслед.

— Откуда?

— Из Бухчи.

— Есть в Бухче красные?

— А может, и есть...

— Много?

— А может, и много...

Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно — белые или красные, царь, или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой:

— Пошел вон, лесовик!..

15 ноября.

В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем. Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят: в их

глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:

— А почему у вас генералы?

— А почему с вами паны?

— А почему не платите за подводы?

Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да, в армии идет воровство...

Меня выручил из беды Егоров. Он протискался сквозь толпу — огромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел, показывая корявый палец:

— Это что, огурец или палец? Палец... А я кто? Барин или мужик? Мужик... Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?..

— Перекрестись, что против панов.

Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.

— Бумагу написать можешь?

— Могу.

— А печатку приложить можешь?

— Могу.

Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревня дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановился в дверях.

— Нестоящее это дело, господин полковник.

— Почему?

— Да убегут мужичонки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно, за что воюем.

17 ноября.

В лесу и в поле, вечером, ночью и днем меня не покидает острая мысль, мысль об Ольге. Позвякивает стремя

о стремя, Голубка просит поводьев, оступается и снова мягко шагает, а передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Она, смеясь, играет в горелки. Горелки... Какое наивное, навеки забытое слово... Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара?.. Я не могу, я не смею думать. Огонь обжигает лицо и мутится буйно в глазах.

18 ноября.

Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед. Выше, вверх по течению, широкая полынья — говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ощупью спускается с крутизны Голубка. У реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок.

Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселою вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами осторожно ведут некованых лошадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил о Жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, а Барабошка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так прозрачен морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река, так бодры кони и так приветливы люди, что я, как мальчик, радуюсь жизни. Жить — не думать, не знать, не помнить...

Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют «Олега».

19 ноября.

Федя подает мне бинокль.

— Вот они, господин полковник.

Я вижу: в сизой мгле колышутся тени. Их много. Они двигаются по Бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих?

— В атаку! В карьер! — Засвистел и резнул лицо воздух, напряглась и выбросилась вперед Голубка. Низко наклоняясь к луке, я обнажил саблю. Справа и слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы,— не щелканье ли бичей? Как во сне промелькнул Егоров. Взвизгнуло острое лезвие, что-то охнуло и что-то упало... Я пришел в себя, когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что к далекому лесу, по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь бежит человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок. За ним тяжелым галопом скакал один из наших улан. Я узнал взводного Жеребцова. Я опять пустил Голубку в карьер.

Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий круг. Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник. Я взглянул на него, на этого русского, в шлеме с красной звездой, мужика и мною овладело незнакомое чувство. Я крикнул:

— Опусти руку!

Жеребцов злобно, всем телом повернулся ко мне.

— Опусти! А ты... А ты, садовая голова, иди за мною...

Красноармеец сперва не понял. Потом поднял испуганные глаза. Потом, крестясь, и путаясь, и снова крестясь, забормотал невнятной скороговоркой:

— Вот спасибо... Вот так спасибо... Вот так уж на самом деле спасибо...

20 ноября.

«Не убий!»... Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь... Теперь они мне кажутся ложью. «Не убий», но все убивают вокруг. Льется «клюквенный сок», затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек — от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, празднословили о заповедях завета?.. Какой кощунственный балаган!

21 ноября.

Мы с боями идем вперед. Вчера мы два раза ходили в атаку. Ранен командир первого эскадрона, ранено человек десять улан, и убит трубач Барабошка. Он был тоже «скобарь», земляк Егорова, заклятый враг коммунистов. Он всегда был доволен, даже когда нечего было есть, даже когда люди от усталости засыпали на седлах. «Тяжело, Барабошка?» — «Никак нет, нам, скопским, кап што»... В деревне у него остался отец, суровый и благочестивый крестьянин. Отец и приказал ему идти в добровольцы.

Мы похоронили Барабошку в лесу. Уланы наскоро пропели «вечную память» и поставили березовый крест. Когда стукнул последний ком глины, Федя, нахмурясь, сказал:

— Жил грешно и умер смешно.

— Почему смешно, Федя?

— Да ведь не от чужой, а от русской пули.

22 ноября.

Ночью меня разбудил Федя.

— Вставайте, господин полковник, вставайте!

— В чем дело?

— Уже «ура» кричат, господин полковник...

Я мало верю в ночные атаки. Но делать нечего: я нехотя одеваюсь. На улице тьма. Ни зги. Настойчиво стучат у околицы пулеметы. Больше ни звука. Я спрашиваю:

— Кто же кричит «ура»?

— Виноват, господин полковник.

Федя не трус, но не лучше труса. У него испорченное воображение. Ему мерещится то, чего нет. Замечает ли он то, что есть?.. Ему стыдно. Он говорит:

— Ведь так и лезут с одиннадцати часов...

Пусть «лезут»... Я захожу посмотреть Голубку. Она почувствовала меня и обернулась в темном сарае — сверкнула скошенным глазом. Я ласкаю ее упругую грудь, ее гибкую шею. Она просит сахара — ищет горячими губами ладонь. Но сахара нет. Все еще стучат пулеметы. За моей спиной покорно вздыхает Федя.

24 ноября.

Разве это война? Красные сдаются почти без боя. Вчера мы взяли батарею — четыре орудия, сегодня два пехотных полка. Федя хвалится: «Так и ставку ихнюю голыми руками возьмем». Егоров останавливает его: «Не мели. Воля божья... О себе пекись. Как бы не забрали тебя...» Но я спокоен: Федю не заберут.

Холодно. Свищет ветер. Воет и разыгрывается метель. Вреде выстроил пленных в поле. Он командует:

— Смирно!

Восемьсот одетых в военную форму крестьян впивается мне в лицо. У всех один и тот же, напряженный и

недоверчивый взгляд. Они озябли, держат руки по швам и готовятся к смерти. Федя спрашивает:

— Прикажете тачанки подать?..

Тачанки... Нет, я не расстрелял никого. Я предложил желающим вернуться в Бобруйск, желающим записаться к нам. И я сказал, что каждый волен идти домой.

Они не поняли. Кружилась снежная пыль, таяла и забивалась за воротник. Я ушел. Они все еще ждали. Ждали чего? Тачанок?..

25 ноября.

К пленным я послал Егорова и «мужичонков» из Бухчи. Я не знаю, о чем они говорили. Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составился новый добровольческий полк — 1-й Партизанский, пехотный. И теперь во мне живет звериное чувство: я хочу драться. Драться, даже если нельзя победить.

26 ноября.

Я люблю Ольгу. Любит ли Ольга меня? Я впервые задаю себе этот вопрос. Там, в Москве, я знал, что она не может меня не любить. Какая женщина устоит против любви? Какая женщина не истомится и не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок?.. Но ведь теперь между нами даже не бездна, а колодец ее. Колодец бедствий, тревог, несчастий и поражений. Не тюрьма и не Лубянка страшны. Я сожгу тюрьму и взорву Лубянку... Страшна неразделенная жизнь.

27 ноября.

Я написал на клочке бумаги: «Начальнику Бобруйского гарнизона. Приказываю вам сдать немедленно город.

В случае неисполнения сего приказания я вас повешу. Деревня Микашевичи. Подпись». Эту записку я передаю перебежчику. Молодой солдат в шлеме улыбается и прячет ее за рукав.

— Ничего больше, товарищ?

— Ничего.

— Счастливо оставаться, товарищ.

Для него я «товарищ», а не «господин полковник» и уж, конечно, не «его благородие». Вреде не признает этих «коммунистических новшеств». Он не может понять, что он давно не его величества лейб-гусар, а такой же доброволец, как Федя. «Товарищ» звучит для него оскорблением. Мне все равно: лишь бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к Москве... Мне приказано ждать. Тем хуже. Завтра я наступаю.

28 ноября.

Целый день длился бой. Грохотали орудия, разрывались, взметая землю, гранаты, звенела и таяла в голубых небесах шрапнель. Я смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебегали за березами люди и падали под нашим огнем. Не люди, а игрушечные солдаты. Игрушечная шашка, как спичка; игрушечная винтовка, как карандаш; игрушечный разрыв, как дым папиросы. А когда мы взяли холмы, на истоптанной прошлогодней траве валялись шапки, сумки, шинели. Федя поднял одну, офицерскую, подбитую мехом. Она испачкана кровью. Он счистил ножиком кровь и надел шинель в рукава. Уланы мерзнут и завидуют Феде: «ординарцам всегда везет». Но сегодня везет и им: люди сыты, и у лошадей есть овес.

29 ноября.

Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое, багровое солнце. На гулких улицах ни души. Чернеют заколоченные дома, и четко, иглами, торчат фабричные трубы. На главной площади, на канате, два источенных дождями портрета: Ленин и Троцкий. Егоров саблей разрубает канат.

Мы победили. Но во мне нет радости, знакомого опьянения: русские победили русских. На стене белеется прокламация. Я срываю ее. В ней говорится о нас — «разбойниках» и «бандитах». И я спрашиваю себя: брат на брата или клоп на клопа?

30 ноября.

Взводный Жеребцов делает мне доклад:

— Так что взяли нас, господин полковник, под Микашевичами, в разъезде,— Кучеряева, Карягина и меня. Привезли в Бобруйск, потащили в Че-ку. В Че-ке не комиссар, а толстая баба, содком. Во френче и в галифах. В руке у нее наган. Взглянула на Кучеряева, говорит: «Ползи на коленях». Кучеряев пополз. Она трах из нагана. Потом Карягину: «А теперь ползи ты». Карягин туда-сюда, а в дверях чекисты стоят, смеются. Нечего делать. Пополз. Они снова трах. Уволокли чекисты обоих, а она ко мне повернулась и ласково так говорит: «Как тебя звать, товарищ?» — «Василий».— «Ну что ж, покури, товарищ Василий»... и папиросу дает. Взял я папиросу, курю. А она меня подозвала к себе и руки на плечи положила: «Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Василий?.. Сколько у вас коней, орудий, винтовок»... Я ей было пушку залить хотел, а она как закричит на меня: «Врешь! Правду говори, сукин сын!..» — «Не могу знать», — говорю.— «А, так ты так?.. Всыпать ему пятьдесят!..» Всыпали.— «Ну?..» Я молчу.

Она встала со стула и раз меня хлыстом по щеке. Искровенила все лицо. «Увести его. Всыпать еще полсотни, а потом на сосиски...» Увели меня в паку, есть и пить не дают, измываются только: «Ты,— говорят,— Иуда, продался господам»... А тут вы подошли и, слава богу, освободили... Она, с комиссаром, сказывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерины их фамилия.

1 декабря.

Егоров отыскал комиссара, но жены его не нашел. Тетерин прятался в еврейской семье, под периной. В наказание Егоров выпустил из перины пух, разбил окна и изломал грошовую мебель — «побаловался немного». Тетерина повесили утром. Вешал, конечно, Федя. Он нарочно долго возился с петлей, мылил веревку, уходил и не торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпил водки и пообедал. Он в сенях бренчит на гитаре:

Расстреляли сгоряча
Русские рабочие
Троцкого и Ильича
И все такое прочее...

2 декабря.

Я сказал: неразделенная жизнь... Я иду своею дорогой, Ольга — своим, неведомым мне, путем. Над нами разное небо, под нами не одна и та же земля. Она дышит Москвой, я — моей любовью к Москве. Она живет настоящим, я — будущим, если не прошлым. Может быть, я стал ей чужим, потому что далеким. Может быть, на ее суровые дни уже легла иная, темная тень... Но я верю: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть».

3 декабря.

Из штаба армии приехал полковник Мейер. Блестят серебряные погоны, улыбается выхоленное лицо. Он курит сигару и говорит о штабных новостях. Я только и слышу: «Его превосходительство... Его высокопревосходительство... Господин министр... Барон... Камергер»... И потом: «Блок... Соглашение... Левые... Правые... Париж... Япония... Америка...» Он доволен, что в «курсе событий» и что находится близко к «центру». Докурив, он озабоченно наклоняется через стол:

— Как же так, дорогой?.. Вы ведь, кажется, без приказа перешли в наступление?

— Да, без приказа.

— Ай, ай, ай... Разве можно? Вы знаете, командарм недоволен... Я-то понимаю, все понимаю и высоко ценю, но, однако, по диспозиции?...

— Какой диспозиции?

— Как какой?..— Он надевает пенсне и с недоумением разглядывает меня: — По диспозиции вы должны были ждать в Микашевичах.

— Ждать кого?

— Его превосходительство командарма.

Мне надоело его пенсне, надоел его приторный голос. Мне надоели штабы, министры и генералы. Но я сдерживаю себя. Могу ли я подать пример ослушания? И я, как ученик, говорю:

— Виноват, господин полковник.

4 декабря.

Вреде обиделся за меня. Он долго ходит из угла в угол. Потом садится. Потом закуривает и, наконец, говорит:

— Юрий Николаевич, гоните их в шею.

— Кого?

— Да штабных этих... Только мешают. Если бы не они, мы бы были уже в Москве.

— Вы против армии?

Он сконфузился и молчит.

— Против армии, но за его высочество великого князя? — За царя? Кто вам сказал, что я за царя? Я ни за кого. Я не занимаюсь политикой. Я солдат. Я никогда не признаю «похабного» мира и никогда не сниму погон. А на остальное мне наплевать.

Он горячится. Он чувствует, что в чем-то не прав, но не может осмыслить ошибки. Я улыбаюсь:

— Ах, Вреде, Вреде... Хорошо быть гусарским корнетом, звенеть шпорами, ужинать у Кюба и ухаживать за дамами в Павловске. Хорошо также рубить в атаке венгерскую кавалерию... Но плохо быть даже не белым, а просто «бандитом», воевать в медвежьих углах, рядом с Федей, против Тетериных, под начальством какого-то Мейера... Этим и исчерпана революция? Да?

Он сердится и уходит. Честный и храбрый мальчик. За что он отдает свою жизнь?

5 декабря.

Сегодня трескучий мороз. Стынет дым, цепенеет дыхание. Галки, замерзая, падают на лету... Я живу у мадам Минькович. В низкой «зале» тепло и пахнет жареным луком. Мебель в серых чехлах, в углу запыленная пальма и под зеркалом на столе большой фамильный альбом. В альбоме местечковые «коммерсанты» и молодые люди американского типа — племянники из Нью-Йорка. Мадам Минькович боится погрома. Она произвела меня в генералы, кормит Федю фаршированной щукой и по вечерам, чтобы я «не скучал», усердно играет Шопена. Мне странно слышать любимые вальсы здесь, почти в гостинице, почти на вокзале. Ольга играла их... Увижу ли я ее? Или так, в одиноких скитаниях, и окончится моя жизнь?

6 декабря.

Егоров рыскает по городу. Он не ест и не спит. Он обыскал еврейские лавки, перерыл дворы, подвалы и чердаки и даже заглянул на кладбище и в собор. Он мрачен и говорит угрюмо:

— Кто ее знает, бесовку... Им, бесам, кабы что... Креста на них нет. Ну, да я ее разыщу. Я ее из-под земли откопаю. Я ей кузькину мать покажу. Где это видано, чтобы баба сама из нагана стреляла? Мало ли на это у них холуев?.. Вот оно, в Писании-то сказано: «И се жена»... Только не жена ведь она ему, а тьфу, содком, и ничего больше...

— Что же ты сделаешь с ней?

— Что сделаю? А уж мы с Федей придумаем что. Уж мы обмозгуем. Ведь такую и сжечь не грех.

Он стоит у дверей, прямой, седобородый и строгий. Я знаю: позволить ему — и сожжет.

7 декабря.

Мадам Минькович почти права... По улицам ходят патрули. Они следят за порядком. Но порядка нет — много пьяных. Пьяные, трезвые, солдаты и офицеры грабят. По всему городу идет беспросветное воровство, неприкрытый дневной грабеж. Вчера ко мне пришел врач, у которого «покупили» аптеку. Он жалуется. Он говорит, что при коммунистах жилось не хуже: «Конечно, таскали в Че-ка... Ну, а теперь, при вашей свободе, не волокут в контрразведку?»... В контрразведке Егоров. Чем Егоров отличается от «чекиста»? Чем я отличаюсь от комиссара? Мы верим в разное, но по делам нашим нас не познать. Мы мазаны одним мирром. Мы деремся между собой, а обыватель нас одинаково проклинает, нас, белых и красных: «у хлопцев чубы трещат». Но почему эти «хлопцы» терпят нас, как рабы?

8 декабря.

Я раскрываю Евангелие: «И слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины»... Где наше воплощенное слово? Где наша истина, наша божья благодать? Егоров наврал, неизвестно, за что воюем. Я знаю, почему я вешаю их, но я не знаю, зачем. В тылу фабрикуется царь, даже не царь, а царек, доморощенный и карикатурный Наполеон. В нем спасение России?.. Спасение генералов и бар. Спасение тех, кого с кровью выплюнул русский народ. Москва... Москва поругана и растоптана каблуком. Что мы дадим взамен? Иное, худшее поругание и такой же солдатский каблук? Или, может быть, сентиментальные фразы, бледную немочь новоявленных Мирабо?.. Черт меня дернул родиться русским.

9 декабря.

Да, «черт меня дернул родиться русским». «Народ-богоносец» надул. «Народ-богоносец» либо раболепствует, либо бунтует; либо кается, либо хлещет беременную бабу по животу; либо решает «мировые» вопросы, либо разводит кур в ворованных фортепьяно. «Мы подлы, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы». В особенности скопцы. За родину умирает горсть, за свободу борются единицы. А Мирабо произносят речи. Их послушать — все изучено, расчислено и предсказано. Их увидеть — все опрятно, чинно, благопристойно. Но поверить им, их маниловскому народолюбию,— потонуть в туманном болоте, как белорусский крестьянин тонет в «окне». Где же выход? «Сосиски» или нагайка? Нагайка или пустые слова?

10 декабря.

Мадам Минькович стучится ко мне:

— К вам пришли, господин генерал.

Я оборачиваюсь. На пороге молодая женщина в белой папахе. У нее серые, навыкат, глаза и круглое, нарумяненное лицо. Она нерешительно подходит ко мне.

— Вы удивляетесь? Я Тетерина.

Я не удивляюсь. Она не могла не прийти: она загнана и окружена, как волчица. Я подвигаю ей стул:

— Садитесь.

Она вынимает платок и плачет. Я молчу. В дверях бесшумно вырастают Егоров и Федя. Они жадно, в упор, разглядывают ее.

— Я пришла... Я пришла предложить вам свои услуги...

— Какие услуги?

— Я хочу служить белым.

— Вы были агентом Че-ка?

Она говорит сквозь слезы.

— Заставили... Поневоле...

— Ваш муж повешен?

— Он мне не муж...

Горячий обруч сжимает мне горло... Она своею рукой расстреливала наших солдат. Она перед смертью издевалась над ними. Мы повесили ее мужа. А теперь она предает своих.

— На службу я вас не приму.

Она с улыбкой опускает глаза.

— Напрасно... Я готова на все...

— На все?.. Послушайте, вот что. Предлагаю на выбор. Либо я вас отдам вот им, либо... либо вы застрелитесь сами. Решайте.

Егоров и Федя понемногу придвигаются к ней. Она не верит. Она говорит:

— Вы шутите?

— Нет!

— Не может этого быть...

— Ординарцы!

Она встала. Она поняла, наконец. Она не плачет и

не улыбается больше. И вдруг, с размаху, падает на пол. Бьется полное, обессиленное внезапно тело. Я говорю:

— Уберите ее.

Егоров подходит и толкает ее сапогом.

— Вставай, бесовка... Пора.

А Федя подмигивает единственным глазом:

— Пожалуйста, мадам, бриться.

11 декабря.

«Соль — добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль». Так сказано в Евангелии от Луки. Соли у нас не занимать стать. Крепкой, соленой соли. Довольно ее и у них, у наших непримиримых врагов. С точки зрения спокойного кресла, чистых комнат и уравновешенной жизни, мы такие же разбойники как они. Я уже сказал: «Мы мазаны одним мирром». Пусть так. Но я спрашиваю: что лучше, благоденственное, то есть, в сущности, подлое, житие или наша греховность? Кто ближе к истине, святой Касьян или святой Николай? Касьян в ризах, в благочестии и в молитве. Николай в рубице, в грязи и в крови. Но ведь Николая празднуют девять раз в один год. Что мы знаем? Разве нам дано знать? «Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей».

Федя на кухне ухаживает за судомойкой. Судомойка толста и стара, но Федя не очень разборчив. Он сегодня принарядился, смазал маслом пробор и вымылся «березовым кремом» — «для красоты», как он говорит. Он томно перебирает струны гитары, а судомойка хихикает визгливым смешком. У Феди душа спокойна.

12 декабря.

Красные перешли в наступление. Я иду к мосту. Его защищают взятые нами красноармейцы. Ими командует Вреде. На другом берегу реки обнаженный кустарник, низкая и густая заросль. В этой заросли стрелковые цепи. Красные постреливают лениво, точно нехотя, точно не зная, зачем. На мосту пулеметы. Один из пулеметчиков, высокий рыжий детина в обмотках, узнает меня и весело говорит:

— Здравия желаю, господин полковник.

— Как живете?

— Живем.

— У кого лучше?

— У нас.

У кого «у нас»? У нас или у них? Ведь и те, и другие — мы.

Я спрашиваю:

— Почему лучше?

Он ухмыляется во весь рот.

— Как же можно? Знаем, по крайней мере, за что воюем.

— За что?

— За Рассею.

За Россию. Точь-в-точь как Егоров. Значит, Россия не праздное слово, не безжизненное, на школьных картах название. Значит, не я один кровно привязан к ней. Значит, голос ее звучит и в этих простых сердцах. Россия... Ей, матери нашей, наша жизнь и наша действенная любовь.

13 декабря.

Красные атакуют. Снова рвутся гранаты. Снова повизгивает шрапнель. Голубка насторожилась и повернула морду к реке. Я успокаиваю ее и медленно еду на батарею. Но вот близко, над головой, заскрежетало, кру-

жась, колесо. Сверкнул огонь. Пахнуло горячим дымом. Я откидываюсь невольно назад и опускаю поводья. Голубка взвивается на дыбы... Меня догоняет Вреде.

— Юрий Николаевич, мы держаться не можем.

Кровь бросается мне в лицо.

— Почему?

Но он отвечает спокойно:

— Не верите? Посмотрите сами.

Я посмотрел. Наши красноармейцы дерутся храбро, не хуже улан. Они не могут не драться: красные победят — расстреляют. Но много ли их осталось? Но цепи уже на мосту. Но уже за горкой, на батарее, раздается «ура!»...

14 декабря.

Итак, совершилось. Мы уходим. Чего я достиг?.. Позади — родимая глушь, впереди — чужая граница. Где Москва? Где мечты о Москве?

Вот опять запорошенный инеем бор, звон удил и ровный топот копыт. Вот опять пофыркивает Голубка, и поскрипывает кожей седло. Вот опять привычное, нет, новое, столетнее утомление. Уланы не поют больше... Я обернулся на их немногочисленные ряды. Вреде едет понуро, нахохлившись, в летней шинели. Так же понуро едет Егоров. Один Федя не теряет бодрости духа. Он поднял меховой воротник. Ему тепло. Он мурлычет себе под нос:

Как были мы на бале,
На бале, на бале,
И с бала нас прогнали,
Прогнали по шеям...

Я командую:

— Рысью... ма-арш!..

II

3 июля.

Груша сидит на траве. Она в розовой кофте. Вечереет. В теплом воздухе комариный звон.

— Груша, узнала?

— Узнала.

— Сколько их?

— Да трое всего. Стоят в четвертом дворе, направо. С утра самогонку пьют.

— Городские?

— Городские, из Ржева. Один рыжий, фабричный. Другой лохматый, будто из духовного звания. А третий вроде как писарек.

— Из исполкома?

— Да, гады... С бумагой, и винтовки при них. Сказывают: утят считать будут.

Она смеется — скалит белые зубы. И, рассмеявшись, закрывает локтем лицо.

— Груша, не страшно?

— Чего страшно-то?.. Я их и сама придушу. Ночью подкрадусь и придушу. Всем троим цена три копейки.

— А расстреляют?

— Не расстреляют небось... Я в лес убегу. К тебе.

Я сажусь рядом с ней. Она потупилась. Потом несмело отстраняет меня рукой:

— Барин... Голубчик... Увидят...

4 июля.

Мы четвертую неделю в лесу. У меня двадцать шесть человек — «шайка бандитов». О нас сложилась легенда. Говорят, что нас две дивизии, что мы взяли Калугу, что мы идем на Москву. Стоустой молвой разносится слух, что пришла наконец своя, мужицкая, власть и карает «бесов». Вся округа нам верит. Я бы мог поднять и

Столбцы, и Можары, и Зубово, и Сычевку. Но я не знаю времен и сроков.

Я сегодня встал на заре и пошел без дороги. Под ногами папоротник и мох, над головою прозрачное, омытое ночным дождем небо. Еще утро, еще солнце не греет, а уже гудят над дикой малиной пчелы. Я слежу за ними прилежным глазом. Они живут короткое лето, мы — короткую жизнь. Они трудятся, мы — воюем. Они оставят медовые соты, мы... Что мы оставим?..

Я «зеленый». Я скрываюсь в зеленом лесу. Я счастлив. Я счастлив, потому что слуга России.

5 июля.

Поздним вечером, огородами, мы подходим к Столбцам: я, Егоров и Федя. Сильно пахнет укропом и коноплей. Сияет луна. В лунном свете высокая тень — Груша в белом платке. Она шепчет:

— Сюда идите... Сюда.

Она проводит нас прямиком, задами. У четвертой избы, направо, я осторожно стучусь в окно.

— Кто там?

— Выдь на минутку, хозяин.

Щелкнул засов, из-за двери просунулась голова. Я узнал «лохматого из духовного звания». Он огляделся вокруг и почесал поясницу.

— Товарищ из Ржева?

— Да... А ты кто такой?

Я не ответил. Я поднял руку и, не целясь, нажал курок. Блеснуло желтое пламя, по крыльцу пополз дым... Я не вошел. Вошли Егоров и Федя. Все так же сияет луна... На пустынной улице, у ворот, стоит Груша. Ее губы полураскрыты. Она дышит часто и тяжело. Но она не уходит. Я говорю:

— Иди домой, Груша.

Она вздрагивает:

— Нет... Чего уж?.. Я обожду...

6 июля.

Егоров мне говорит:

— Мы вошли, а он как бросится на меня... Руку прокусил, рыжий черт... Ну, этого Федя живо вывел в расход. А другой, паршивец, на полати залез, трясется: «Простите, православные, Христа ради...» Я говорю: «Конец твой пришел, богу молись, сукин сын...» А он свое: «Верой и правдой буду служить, книжки буду для вас печатать...» У него морда в крови, и глаз на нитке висит, а он про книжки толкует. Смехота!.. Тоже сочинитель нашелся...

Полдень. Парит. В лагере пусто. Кто на часах, кто в разведке, кто спит. В тени, под широким кленом, «бандиты» играют в «акульку». Заправила, разумеется, Федя. Он посмеивается, подмигивает и жулит. Он никогда не остается «акулькой»: «уж такой, значит, фарт»... Егоров угрюмо смотрит. Смотрит он долго, потом с негодованием плюет:

— Тьфу! Табачищем воняют, картами дьявола тешат. Нехристи... Ужо погодите: будете в вечном огне гореть. Не простит господь грехов ваших!..

8 июля.

Иван Лукич — бывший советский «работник». Вчера он заседал в «Исполкоме», зубрил для «экзаменов» Маркса и беспрекословно повиновался ВЦИКу. Сегодня он с нами в лесу. Он невысокого роста, но широк и крепок в плечах — ладно скроен, неладно шит. Он сын дьячка, выгнанный за «неблагонадежность» семинарист. Он пришел ко мне один, без оружия, миновав сторожевые посты, и начал с того, что заявил мрачновато:

— Я должен предупредить, что я большевик.

Я с любопытством взглянул на него.

— Хочу стать зеленым.

— Большевик и — зеленый?

— Да. Довольно побаловались. Хорошего понемножку... Ведь рано или поздно все равно ваша возьмет.

— Чья «наша»?

— Да мужиков...

Мне понравилась его откровенность. Я дал ему браунинг и винтовку и, платя его же монетой, сказал:

— Вы знаете, мы не только вешаем, но и грабим.

— Коммунистов?.. Так им и надо.

— Почему надо?

Он нахмурился.

— Я поверил им, как дурак... А они все наврали. Подлецы. Никому жить не дают. В свой карман норовят — и только.

9 июля.

Груша приходит ночью,— босыми ногами пробирается по тропинкам. Меня волнует блеск ее глаз. Меня волнует ее молодое тело. В ней избыток неистраченных сил, неутолимая, почти звериная жажда. Покоем дышит земля. Тихо светится Млечный Путь. Спят, как дети, «бандиты». А в нас — палящий огонь.

Но Груша чужая. Мне чужд ее наивный язык: «Касатик... Соколик...» Я вспоминаю Ольгу. И мне кажется, что это не Груша, а Ольга ищет моего поцелуя. Ольга... Где дно колодца, разделившего нас?

10 июля.

«И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. Такое землетрясение! Такое великое...» Но гармоники «наяривают» малиновым звоном, и парни горланят разухабистые частушки; но у

околицы дерутся беловолосые, конечно, вшивые мальчуганы; но курится самогонка; но потрескивает и каплет смолой лучина; но матерная ругань висит топором. Те же расковырянные поля, те же неезженые проселки. А главное, там же «зимуют раки». Над этими «раками» я бьюсь давно и бесплодно... Где «молнии, громы и голоса»? Их нет. Есть вседержавная, всемужицкая, всероссийская порка, та самая, какая была при царе. И из-за этого пролились моря крови?..

Отец Груши, Степан Егорович, «середняк» — прежде зажиточный, а теперь полуразоренный крестьянин. Я спросил его, почему деревня не поддержала «белых». Он задумался:

— Многоуважаемый, как бы это тебе получше растолковать? Тут не только в баловстве дело. Ты вот что пойми. Я гол как сокол, и у меня паутина над образами. Зато сам себе барин. А придут генералы, может быть, и я разживусь, да не хозяином в своей хате, а холуем на барском дворе. Вот то-то оно и есть.

— Но ведь тебя по-прежнему порют?

— Порют. Да кто порет-то? Ведь свои. Свой брат, фабричный или мужик... Мы их, гадов, небось одолеем. А бар, пожалуй, не одолеть...

Не в помещичьей ли усадьбе «зимуют раки»?

11 июля.

Иван Лукич ходил к Духовщине. Он докладывает:

— Я вошел и говорю: «Товарищи, руки вверх!»... Мужики попадали на колени, а заведующий ключи мне сует: «Вот ключи, господин атаман...» Я приказал выбрасывать товар за окно: ситец, гвозди, кожу, подошвы. Потом говорю мужикам: «Бери, ребята... Все ваше». Они не верят: боятся. Я одному дал по шее: «Бери, дубина... Дарю». Стали расхватывать, подводы грузить. А заведующий, партийный работник, стоял-стоял да

как бросит шапку на пол: «Эх, елки зеленые, чем я хуже других?» И тоже стал подводу грузить. Коммунисты?.. Знаю я их. Все они таковы.

Он принес миллиард советских рублей. Я положил их в денежный ящик. У ящика часовой. Я опасаюсь «бандитов». Недоглядишь, у своих украдут. Я мог бы тоже сказать: «Зеленые? Знаю я их... Все они таковы».

12 июля.

Груша мне говорит:

— А когда Ржев будешь брать?

— Ржев?

— Ну да. Ведь не век же на печи прохлаждаться...

— На печи?

Она смеется.

— Чем не печь? Живете, как в раю у Христа. Все у вас есть: и лошади, и коровы, и овцы, и самогонка. Кушаете, как баре, на скатертях. Отдыхаете, как купчихи, на шубах... Ишь как этот одноглазый отъелся...

— Федя?

— Ну да, который вешатель твой.

— А тебе, Груша, завидно?

— Не завидно, а православные ждут.

— Ждут чего?

— Когда на Москву пойдешь.

Я смотрю на нее. Вот она рядом со мной, босоногая, в розовой кофте. В черных глазах ни тени смущения: надо идти на Москву.

— А почему мужики не идут?

— Силы у них нету.

— Ну и у нас ее нет.

— У тебя?.. У тебя силы нет?..

Она хочет и не умеет сказать. Она верит: для нее со мной все возможно. Ведь судьба «назначила меня к бою».

13 июля.

Я к вечеру возвращаюсь в лагерь. Садится солнце, в лесу сгущается мрак. Издали доносятся голоса. На поляне, под «акулькиным» кленом, костер. Толпятся «бандиты». Полыхают красные языки.

— Егоров!

Он подбрасывает поленьев в огонь. Потом, не торопясь, подходит ко мне.

— В чем дело, Егоров?

— Товарища провокатора жгем.

— Что?..

Я взглянул. Я только теперь заметил, что у клена стоит человек. Он привязан. Я узнаю Синицына, крестьянина из Можар. Сквозь дым белеются голые плечи. Торчит взлохмаченная, черная, закинутая вверх борода.

— Мерзавцы!..

— Никак нет, господин полковник. Что же с ним, с окаянным, делать? Запороть, так время уйдет. Повесить, так людям зазорно будет... Вот и жгем помаленьку.

Я отвернулся. Я ушел без оглядки в поле. Уходя, я услышал:

— Бороду, Федя, бороду ему подпали.

14 июля.

Федя любит животных. Он с любовью ухаживает за лошадьми, с любовью доит коров. «Бессловесная тварь» ему друг. Он подобрал в деревне щенка, Каштанку, и за пазухой отнес его в лагерь. Щенок крохотный, белый, с желтыми подпалинами и брюхом. Он неуклюже ползает по траве и тычется носом в Федин сапог. Федя, как нянька, берет его на колени. Он вычесывает блох

своим гребешком и, вычесав, с мылом моет его. Тихо и знойно. Федя поет по-лесному, по-псковски:

Как на горке, на горы,
Там дяруцця комары,
Два дяруцця,
Два смяюцця,
Два убитыи ляжаць...

15 июля.

Меня разбудил летний дождь. Светает. По лесу идет тихий шорох. Все влажно. Все хмуро. Я встаю. У палатки спит часовой. Спят вповалку и остальные «бандиты». Им «кап што»... Они давно не знают тревог. Я вдыхаю запах дождя. Я радуюсь его невнятному шуму. Я пью густой и прохладный воздух. В забытье впадает душа. И вот опять — нет лагеря, нет меня, нет «бандитов», нет леса. Есть вечная и единая, благословенная жизнь. И где-то есть Ольга.

16 июля.

Груша закрыла руками лицо и хохочет. Трясутся плечи, волнуется высокая грудь. Я спрашиваю:

— Груша, чего?

Она захлебывается от смеха.

— Вот уморушка... Вот так умора... Вешатель-то твой, Федя Мошенкин этот...

— Ну?

— Кандибобером ходит... Аграфеной Степановной величает, ленту мне давеча подарил... А сегодня пристал, серебряный целковый сует. А я его раз по щекам... Так и покатился, сердечный.

— Груша, зачем?

Она перестала смеяться и строго смотрит мне прямо в глаза.

— Зачем?.. Разве я гулящая девка?.. А что с тобой гуляю, так не моя в том вина...

— А чья же?

Она молчит. Вот и соперник у меня: Федя.

17 июля.

Вреде ходил за Калугу и под Алексином взорвал комиссарский поезд. Он вернулся с добычей: много денег, много бриллиантов и три трофея,— пулемет, печать «Губ-чека» и орден Красного Знамени. Федя доволен: «Была манишка и записная книжка, а теперь и попросить на чаек не грех». Я послал его в Москву за валютою. Валюту я раздам окрестным крестьянам. Они, конечно, зароют ее в лесу.

У палатки Иван Лукич спорит с Вреде. Он курит и говорит:

— Вы вот думаете, что вы поручик. А поручиков давно уже нет. Были и быльем поросли.

Вреде сердится:

— А вы большевик.

— Ну так что же, что большевик?.. У вас труха в голове: честь, Россия, народ... А мне плевать на ваши идеи. Я беру жизнь, как она есть, без прикрас.

— Россия — прикраса?

— Да, и Россия прикраса. Вы не думайте о ней вовсе, а делайте свое дело. Муравейник велик. Мы, муравьи, каждый свою соломинку тащим.

— Вы какую?

— Пока ту же, что вы. А время придет, порознь пойдем.

Вреде насмешливо замечает:

— Вы, разумеется, в Коминтерн?

— Не в Коминтерн. Коминтерн лавочка. В Коминтерне канальи... Я хутор куплю. А вы... Вы из бывших людей. Слопают вас.

— Кто слопает?

— Да такие, как я.

Вреде обиделся и уходит. В знойном воздухе предчувствуется гроза. Жалобно, скучая без Феди, повизгивает Каштанка.

18 июля.

Иван Лукич опять спорит с Вреде. Я слышу его семинарский бас:

— Белые просто дрянь. И пора вам, ваше благородие, это понять.

Вреде, как всегда, горячится:

— Белые дрянь? Превосходно... Но почему? Потому, что грабили, расстреливали, пороли? А зеленые? Разве не грабят?.. Вот я ограбил поезд. Не порют?.. Вот вы выпороли вчера Каплюгу. За что?.. За пьянство. Разве за пьянство можно пороть?.. Не расстреливают?.. Да, конечно, потому что жгут на кострах... Почему же вы ругаете белых?

— Я не ругаю. Я говорю, что они мертвецы, что от них трупом воняет: его высочествами да золотопогонными генералами. А зеленые дело другое. Зеленые строят новую жизнь.

— Совдепскую?

— Нет, свою. Ну, а если даже совдепскую? Чем совдеп хуже земской управы?..

Длится нудный, нескончаемый спор. О чем они спорят?.. Белые мертвецы, но и зеленые не ангелы божии, но и красные повапленные гроба. Новая жизнь?.. Она строится где-то. Но где? Но кем? Но какая?.. Где всадник с мерою в руке?..

19 июля.

Я сегодня не мог уснуть. Затрепетал в орешнике ветер. Задрожала и заколыхалась палатка. Загудел верши-

ною клен. Потом все умолкло. Но вот разверзлись, как уголь, черные небеса. Бледным пламенем опоясался лес, и еще темнее стало в чаще. И сейчас же грозно загрохотали раскаты, и сильно и мягко застучал теплый дождь. Из темноты вышел Егоров:

— Илья-пророк, батюшка, колесницей грохочет. За Иудой гоняется в облаках.

— Почему за Иудой?

— А как же? Знать, Иуда снова из ада бежал. Вот господь за ним и посылает Илью. Уж Илья ему спуску не даст.

Он крестится двуперстным крестом и долго молчит. Потом зевает.

— Дождик-то, дождик... Эка, прости господи, благодать!

Я говорю:

— А Синицын?

— Что ж Синицын?.. Синицын без покаяния помер. Теперь с Иудой, в аду.

20 июля.

Мокеич — старый «бандит», четыре года скрывающийся в лесу. Я послал его на разведку. Он был в Ржеве и в Вязьме. В Вязьме его поймали, но он бежал из «Че-ка». У него «карточка» в синяках, на спине фиолетовые рубцы и один из пальцев отрублен. Его «выспрашивали», как он говорит. Он докладывает, что красные готовятся к наступлению. Вот уж поистине стрелять из пушек по воробьям. Нас двадцать семь человек. Правда, нас завтра может быть несколько тысяч. Но несколько тысяч крестьян не войско. Но из нашей, тлеющей, искры не возгорится бурное пламя, не разольется всероссийский пожар. «Старики» находят, что следует «покедова что» обождать. Я ждать не хочу, но против рожна не попрешь.

Мокеича лечит Егоров. Он поит его самогонкой и растирает рубцы «целебной травой». Мокеич охает. Он клянется, что отрубит не один, а сто один палец... Он принес московскую прокламацию. В ней сказано: «В Ржевском уезде бесчинствует шайка бандитов, наемников Антанты и белогвардейцев. Товарищи, Республика в опасности! Товарищи, все на борьбу с бандитизмом! Да здравствует РСФСР!..» Я читаю вслух это воззвание. Егоров слушает и плюет:

— И не выговоришь: Ресефесер... Чего таиться? Говорили бы, дьяволы, прямо: Антихрист.

21 июля.

Груша нашла портрет Ольги. Ольга в белом кружевном платье стоит под зонтиком на дорожке. Я люблю этот домашний, такой простой и такой похожий портрет. Это — Сокольники. Это — невозвратимые дни.

— Она кто же будет тебе? Сестра?

— Нет, Груша, у меня нет сестры.

— Значит, невеста?..

Она вспыхнула. По лицу пробежала тень.

— Невеста иль не невеста, а что барыня, так видать... Куда уж мне, коровнице, с ней тягаться?..

— Груша...

— Верно, в хоромах живет, золотые наряды носит, серебряными каблучками стучит...

— Груша, молчи...

— Знаю я... Любиться со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню... Эх, барин, ведь так?..

Что могу я ответить? Я молчу. Она разгадала мое молчание:

— Стало быть, скучаешь о ней...

И вдруг говорит очень тихо:

— Ну что ж... Уж такая, видно, моя судьба...

22 июля.

Груша запыхалась,— бегом бежала от самых Столбцов:

— Каратели пришли... С пулеметами... Человек полтораста...

— ЧОН?

— Да... Старика Кузьму — помнишь, у которого те трое стояли,— сейчас к Иисусу, разложили, стали плетьми пороть. Порют, а он «Отче наш» читает... Начальник ихний как заорет на него: «Чего молишься, старый хрыч?.. Сознавайся...» Отпороли. Кузьма дотащился домой, на полати залег и сына позвал, Мишутку. «Мишутка,— говорит,— это ничего, что выпороли меня, пущай и совсем запорют, а ты винтовку бери, бей их, бесо́в. Убьют тебя. Серега пойдет». А каратели — шасть по дворам, коров, овец, лошадей, даже собак считают, оружия ищут, все допытываются, кто тех гадов убил. Стон на деревне стоит. Сказывают, всех стариков пороть будут, а молодых так в Сибирь ушлют... Господи, неужто погибнем, как мухи?..

Ее глаза горят сухим блеском. Губы сжаты. Она с тревогой ждет моего ответа... Она знает его заранее.

— Груша, жди меня ночью у Салопихинского ключа.

Она поняла. Она обрадовалась и шепчет:

— Бей их. Бей... Чтобы ни один живым не ушел, чтобы поколеть им всем, окаянным...

23 июля.

Я отобрал пятнадцать самых надежных «бандитов» и разделил их на два отряда. Одним командую я, другим Вреде. Я пройду в Столбцы от Салопихинского ключа, Вреде — с большой дороги. В два часа ночи мы выступаем.

Я оставил своих людей во ржи и один, межою, иду

в деревню. Ярко, перед рассветом, сверкают звезды. У околицы часовой.

— Кто идет?

— Не видишь, ворона?

Я в шлеме и красноармейской шинели. На рукаве кубики — командный состав.

— Где штаб полка?

— Направо, у церкви, товарищ.

Не деревня, а сонное царство. Спят «каратели», спят и крестьяне — готовятся к поголовной порке. Мне вспоминается отец Груши: «Да кто порет-то? Ведь свои... Свой брат фабричный или мужик...» На завалинке, у церковного дома, огонек папиросы. Я вынимаю наган.

— Здесь штаб полка?

— Здесь. А ты кто такой?

— Товарищ.

— Товарищ?.. Документы есть?

Звякнули шпоры,— он встал. Тогда я говорю:

— Руки вверх!

Я увидел, как он схватился за шашку. Но я выстрелил в грудь, в упор. Выстрелив, я вхожу в сени. Скрипнула дубовая дверь, желтым светом ослепило глаза. На кроватях — «товарищи-командиры». Их трое. На столе самогонка. Я опять говорю:

— Руки вверх!

Я стреляю на выбор, слева, по очереди и в лоб. Я целюсь медленно, внимательно, долго. Но уже на улице шум. Это Вреде. Это Егоров. «Ура!.. Ура!.. Ура!..» Я выхожу на крыльцо. По деревне мечутся люди, без винтовок, в одном белье. Во все горло поют петухи.

24 июля.

Вреде арестовал «военкома» и привел его в лагерь. «Военком», молодой человек в пенсне, из бывших сту-

дентов. Он бос: сапоги снял Мокеич. Он вздрагивает и озирается исподлобья. Я спрашиваю:

— Ты член коммунистической партии?

Он опускает глаза — не смеет признаться. Я смотрю на худое, иссиня-бледное, перекошенное испугом лицо.

— Я повешу тебя.

Он падает в пыль, на колени. Он на коленях подползает ко мне.

— Товарищ!.. Товарищ полковник!.. Пощадите!.. Ведь я еще молодой...

— Из молодых да ранний...— перебивает его Егоров.— Вставай!.. Нечего зря болтать языком.

— Я молодой... Дайте мне послужить...

— Кому послужить?

— Народу...

— Народу хочешь служить? — говорит Егоров.— Бес. Сукин сын.

«Бандиты» смеются. Они рады: «военком», да еще студент... Свалилось с длинного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы, и из глаз покатились слезы:

— Товарищ полковник!.. Товарищ полковник!..

Я вернулся в палатку. И из палатки услышал визг. Так не кричит человек. Так визжит подстреленный заяц.

25 июля.

За лагерем бежит речка, приток Днепра, Взмостя. Держась рукой за лозняк, я спускаюсь к заводи,— к тихой воде. Осока царапает мне лицо, нога скользит по затонувшей коряге. Я плыву по течению. Наперерез плывет уж. Он поднял желтую, с раздвоенным жалом, головку и ныряет в поднятых мною волнах. Я смотрю на него. Я смотрю на высокое солнце, на серебряный, струящийся луч, на зеленый, поросший ольхою берег и не верю, не могу поверить себе. Неужели завтра то же, что и сегодня? Неужели завтра снова «клюквенный сок»?

26 июля.

У меня две-три книжки, чтобы не одичать в дремучем лесу. Евангелие, рассказы Пушкина, стихи Баратынского. Сегодня я раскрыл наудачу:

...Но ненастье заревет,
И до облак свод небесный,
Омрачившись, вознесет
Прах земной и лист древесный.
Бедный дух! Ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, кружит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Не о нас ли сказаны эти слова? Не «пух» ли мы? Не «пух» ли повешенный «военком», сожженный Синицын, запоротый до полусмерти Кузьма? Не «пух» ли Федя, Егоров, Мокеич, мы все, зеленые, красные, белые,— навоз и семя России?..

В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

27 июля.

Приехал из Москвы Федя. На нем новый, синего цвета, «педзяк» и щеголеватые бриджи в клетку. В этом наряде он похож на берейтора из провинциального цирка. Он доволен собой. Он то и дело вынимает зеркальце из кармана и приглаживает пробор: «кандибобером ходит»... Я спрашиваю его:

— Разменял?

— Разменял, господин полковник.

— Сколько?

— Две тысячи пятьсот фунтов.

Он рассказывает про привольную московскую жизнь.

«Бандиты» окружили его. Они слушают с упоением. На вершинах дерев золото вечернего солнца. Внизу сумерки. Хороводами жужжат комары.

— Люди как люди и живут по-людски. В рулетку играют, ликеры заграничные пьют, девиц на «роль-ройсах» возят. Одним словом, Кузнецкий мост. Выйдешь, часика этак в четыре,— дым коромыслом: рысаки, содкомы, нэпманы, комиссары... Ни дать ни взять, как до войны, как при царе. Вот она, рабочая власть... Коммуной-то и не пахнет. В гору холуй пошел. Жи-ивут!.. А мы, сиволапые, рыжики в лесу собираем... Эх!..

Егоров морщит седые брови:

— Помалкивал бы в тряпичку, Федя. Соблазн.

— А что?.. В Москву захотелось?

— Язва, отстань... Бесом стал. Бесо́в тешишь.

Федя смеется. Смеется и беспалый Мокеич, и выпоротый недавно Каплюга, и Титов, и Сенька, и Хведощеня, и вся лесная, зеленая братия. Всем весело. Всем завидно. Завидно, что где-то, за тридевять земель, в далекой Москве, «в гору холуй пошел» и «люди живут по-людски».

«По-людски»: «девиц на «роль-ройсах» возят»... Я спрашиваю себя: семя мы или только навоз?

28 июля.

Иван Лукич — казначей. Он пересчитал сегодня фунты и говорит мрачно:

— Вот мерзавцы... Украли.

— Много?

— Триста пятьдесят фунтов.

Домашний вор — худший вор. Я приказываю выстроить «шайку. «Бандиты» построились в три ряда, на поляне, у «акулькина» клена, там, где жгли Синицына на костре. Моросит мелкий дождь.

— Смирно!

Они по-солдатски повернули глаза направо и замерли в ожидании. Я говорю:

— Ночью украли деньги. Кто украл, выходи.

В заднем ряду поднимается шум. Я слышу, как Каплюга вполголоса говорит:

— Чьи деньги-то? Разве не наши?.. Как в набег, так «за мной», а делиться, так и врозь табачок... Правильно, товарищи, или нет?

Каплюга — бывший матрос. Но он не «гордость и краса революции», а пьяница, разбойник и вор. Я взял его в плен в Бобруйске.

— Каплюга.

Он медленно, нехотя, выходит из строя. Руки в карманы, шапка сдвинута на затылок. Он покачивается. Он пьян.

— Шапку долой!

— Зачем? И так постою. Не в божьей церкви, небось!..

Я сильно, с размаху, ударил его в лицо.

— Молчать! Ты украл?

Он вытирает кровь рукавом и бормочет:

— Украл?.. И не украл даже вовсе... Просто взял... Свое взял, господин полковник.

— Свое?

— Так точно, свое...

— Повесить.

Егоров и Федя подходят к нему. По-прежнему моросит надоедливый дождь.

29 июля.

Меня гложет лесная тоска. Я в тюрьме. Не ветви, а узорчатая решетка. Не шелест листьев, а звон кандальных цепей. Не лагерь, а четыре голых стены. Нет, не выйти из мелового круга: Федя, Егоров, Вреде. Нет, не разорвать сомкнувшегося кольца: плети, виселицы, рас-

стрел... «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог: ждал сострадания, но нет его,— утешителей, но не нахожу...» Где Ольга? Что с нею?

30 июля.

Собирайтесь, девки, все,
Я нашел трубу в овсе...
Труба лыса, без волос,
Обсосала весь овес...

Федя полулежит на траве и пробует гармонику-тальянку. Он в бриджах и хромовых сапогах.

— Федя.

Он вскакивает.

— Слушаю, господин полковник.

— Успокоились?

— А то как же?.. Вот выпороть бы еще Титова да Хведощеню, так и совсем бы за ум взялись...

— Они воровали тоже?

— Никак нет... А все-таки... На всякий пожарный случай.

Он гладит Каштанку. Каштанка, играя, старается укусить ему палец. Федя смеется:

— У, беззубая... У, животина... А с нашим братом, господин полковник, иначе нельзя. Учить нас надо. Малахольный мы, господин полковник, народ... Только о себе и мечтаем.

31 июля.

Вреде и Иван Лукич помирились. Они больше не спорят: каждый думает, что он прав. Но Иван Лукич «шутильник», по выражению Феди. За обедом он говорит:

— Значит, ваше благородие, вы теперь спец?

— Я спец?.. По какой это части?

— По дамской.

Вреде краснеет.

— Что вы хотите этим сказать?

— А вот, Грушенька эта... В розовой кофте... Жанна д'Арк из Столбцов... «Узнаю коней ретивых»... Как сказал господин поэт, Александр Пушкин.

Вреде опускает глаза в тарелку. Мне жаль его. Я заметил: ему нравится Груша. Но он застенчив. Он не смеет к ней подойти. Он не знает, что и как ей сказать. Он барин... Может быть, она действительно кажется ему Жанной д'Арк?

Федя подает на подносе чай. Поднос старинный, серебряный, с чернью. Его «покупил» в одном из «совхозов» покойный Каплюга. Иван Лукич продолжает:

— А вы бы конфеток ей поднесли, сладких, дворянских, от Абрикосова или Сиу. Или вот, духов от Брокара... И вообразили бы, что она не мужичка, а вдруг княгиня или, по крайней мере, генеральская дочь...

— Аграфена Степановна? — щурит Федя единственный глаз.— Да если ее нарядить, так ведь она всех княгинь за пояс заткнет, так ведь она первой красавицей будет... Не девка, а настоящий бутон, господин поручик.

Аграфена Степановна... Груша... Я ее не люблю. Но делиться ею не буду ни с кем.

1 августа.

Груша ночью прокралась ко мне. Она обнимает меня и шепчет:

— Слава богу, погубил ты их, проклятых бесо́в. Только боязно: вернутся обратно...

Да, вернутся обратно. Да, сожгут Столбцы и не оставят камня на камне. «Каратели» усмиряют повсюду. Уже киргизы хозяйничают под Духовщиной. Уже китайцы расстреливают в Можарах. Уже «работает» в Сычевке «Че-ка». Что делать?

— Возьми ты меня христа ради с собою...

— Куда?

— Куда хочешь... В Москву.

Опять Москва. Опять ни тени смущения. Опять нерассуждающая уверенность в своих — в моих — силах. Но вот лицо ее потемнело:

— А та... А барыня... Где живет?

— В Москве.

— В Москве...

Она плачет. Льются женские, обильные слезы. Мне скучно. Я говорю:

— Груша, а Вреде?

— Офицерик-то, баринок-то этот?.. Мало их, что ли? Липнут, точно мухи на мед. Для баловства они это, стоялые жеребцы...

Я знаю: она целиком со мною. Но что я могу? Ведь, может быть, завтра не будет Груши, не будет меня... Я целую ее. От нее пахнет сеном.

2 августа.

Иван Лукич — фабричное производство. Таких, как он, Россия ежедневно штампует десятки. Но он не нашего штампа. Мы выросли в парниках, в тюрьме или в «вишневом саду». Для нас книга была откровением. Мы знали Ницше, но не умели отличить озимых от яровых; «спасали» народ, но судили о нем по московским «Ванькам»; «готовили» революцию, но брезгливо отворачивались от крови. Мы были барами, народолюбцами из дворян. Нас сменили новые люди. Они «мечтают» единственно о себе.

Вечер. Теплится восковая свеча. Иван Лукич ночует сегодня в палатке. Он зевает, потом говорит:

— Хутор куплю, заведу голландских коров, лен посею... И женюсь на богатой.

— Да ведь вас сперва на «сосиски»...

— Не беспокойтесь. Я их рыбье слово знаю... Почему я от них ушел? Очень просто. Мне все равно: Совнарком, Советы, Учредительное собрание или даже пусть черт собачий... Но я работать хочу. Понимаете, для себя хочу, а не для барских затей или для социализации дурацкой. Ну, а при коммуне разве это возможно? Зубри книжонки, пой «это будет последний» да «товарищам» взятки давай. Вот когда мужик одолеет, то будет порядок. Мне нужен порядок: я за собственность. А где собственность, там должен быть и закон.

— А вы собственник?

— Нет. Но буду... Покойной ночи. Приятного сна.

Он тушит свечу и отворачивается к стене — к брезенту. Ему нужен порядок. Поэтому он «бандит». Он за собственность. Поэтому он был коммунистом... А Россия? Россия — «прикраса»... Не счастливее, не богаче ли я его?

3 августа.

Я иду проселком, между полями. Еще не скошена рожь, еще алеют красные маки, и в янтарных колосьях прячутся синие звездочки, васильки. Полдень. Сладкой горечью пахнет полынь.

У Можар я сворачиваю на большую дорогу. На дороге знакомый хутор. Здесь живет «резидент», мой старый приятель, купец Илья Кораблев.

Пусто на огородах. Пусто в конюшне. Пусто на просторном, чисто выметенном дворе. Только в пруду полощутся и брызжут водою утки. На заборе — десятилетний мальчишка. Он болтает голыми, черными от загара ногами.

— Здравствуй... Не узнаешь, что ли, Володька?

— Проходи.

Проходи... Я люблю детей, люблю и Володьку. Он всегда выбегал мне навстречу. Он рассказывал про

свои мальчишеские дела. Про голавлей, про кукушкины гнезда, про крыс, про жеребую кобылу Феклушу. Но сегодня он мрачен. Он глядит исподлобья, волчонком.

— Тятька дома?

Он нахмурился и молчит.

— Где тятька?

— Нету тятьки... Убили. Приехали и убили.

— Кто убил?

— Да чего стоишь-то? Сказано: проходи...

— А мамка?

Дрогнули румяные губы. Он машет худой, тоже загорелой ручонкой.

— Мамка?.. Мамку с собой... увезли...

— Что же ты, Володька, один?

— Я да Жучка остались... Да проходи ты, бестолковый какой... Не ровен час, убьют и меня.

Я медленно возвращаюсь в лагерь.

4 августа.

Иван Лукич был в разведке. Он докладывает:

— Иду, а у Салопихинского ключа городской, милицейский. Подошел. Покурили, поговорили. То да се, да кто, да откуда. Я говорю: — «коммунист» и документ ему показал. Он и пошел: «Я тоже,— говорит,— «коммунист». Сколько я этих белых на своем веку в расход вывел... На сибирском фронте, у Омска... А теперь вот зеленых ловлю. Шайка тут бандитская завелась. Ну, да мы ее живо поймаем. Попляшут они, родненькие, в Че-ка»... Я слушал, слушал и говорю: «Молодец, нечего сказать, молодец»... А потом наган вынул и приставил к виску. Он не верит: «Полно шутить, товарищ»...— «Какие шутки?... Руки, родненький, вверх»... Так у него даже волосы под шапкой зашевелились. Вот часы и партийный билет.

Федя вертит часы в руках. Часы золотые, со звоном. Федя ставит стрелку на «звон»:

— Три, четыре, пять, шесть... Шесть часов. Вот так ловко... Самоварчик разве поставить?.. Эх, верчу, переверчу, самоварчик вскипячу да Ивану Лукичу... С находкой вас, господин корнет.

5 августа.

«Не убий»... Мне снова вспоминаются эти слова. Кто сказал их? Зачем?.. Зачем неисполнимые, непосильные для немощных душ заветы? Мы живем «в злобе и зависти, мы гнусны и ненавидим друг друга». Но ведь не мы раскрыли книгу, написанную «внутри и отвне». Но ведь не мы сказали: «Иди и смотри»... Один конь — белый, и всаднику даны лук и венец. Другой конь — рыжий, и у всадника меч. Третий конь — бледный, и всаднику имя смерть. А четвертый конь — вороной, и у всадника мера в руке. Я слышу, и многие слышат: «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»

6 августа.

Цветут липы. Земля обрызгана бледно-желтыми, душистыми лепестками. Зноем томится лес, дышит земляникой и медом. Неторопливо высвистывает свою песню удод, неторопливо скребутся поползни в сосновой коре, и звонко, в тающих облаках, кричит невидимый ястреб. Днем — бестревожная жизнь, ночью — смерть. Ночью незаметно шелохнется трава и зашуршит листьями орешник. Что-то жалостно пискнет... Жалкий то, предсмертный, писк. Я знаю: в лесу опять совершилось убийство.

7 августа.

Вреде мне говорит:

— Не то, Юрий Николаевич, не то...

— О чем вы, Вреде?

— О нас, о зеленых... Ну, пусть белые дрянь. Так ведь я от белых ушел... Я думал, что здесь, в лесу, лучше...

— В лесу действительно лучше.

— Лучше?.. А зеленая, а мужицкая тьма?.. «Педзяки», Антихристы, Ильи-пророки, костры... И, в сущности, всеобщее «вышибай днище»...

— Что же, Вреде, вы за красных теперь?..

Он вспыхивает.

— За красных?.. Как вы можете так говорить? Я хочу честной жизни, я хочу открытого боя. Я офицер. Я не бандит, не разбойник... Ну, хорошо. Мы победим, мужики победят... Что дальше? Мужицкое царство?

— Да, мужицкое царство.

— А мы?

Я улыбаюсь:

— Чего вы хотите, Вреде?

Он задумался. Потом медленно говорит:

— Чего я хочу?.. Я хочу, чтобы Мокеичам не рубили пальцев и чтобы Володьки не оставались одни. Я хочу, чтобы не воровали Каплюги. Я хочу, чтобы не было ни «рыжих», ни «лохматых», ни военкомов, ни провокаторов, ни Че-ка... Я хочу...

Я перебиваю его:

— Вы хотите земного рая...

В лесу лицо его огрубело. Но он все еще хрупкий, похожий на девушку, мальчик. Он не может примириться со «злом». Он не знает, что четвертый конь — конь вороной... Он в волнении спрашивает меня:

— За что мы боремся? Объясните.

И я говорю:

— За Россию.

8 августа.

Степан Егорыч, Грушин отец, ночью пробрался в лагерь. Я с трудом узнаю его: у него клочьями вырвана борода, один глаз распух и из другого сочится кровь. Федя смотрит, потом говорит: «Так-с. Стало быть, били в морду, как в бубен... И что это, в самом деле, за люди? И что это за мерзавцы такие? Ей-богу, креста на них нет»...

Степан Егорыч вздыхает:

— Ох, многоуважаемый, всех забрали, а нас, стариков, пороть... Говорят: «Деревню сожгем, чтобы и память о ней забылась, а вы, старики, как хотите. Поколеете, туда и дорога»... Груша не хотела идти. Схватила топор: «Убью»... Ну, да где уж?.. Скрутили ее, повезли. Ох, заступись, заступись... Что делать-то? Ох, владычица богородица, пресвятая великомученица Варвара...

Я понял одно,— я понял, что арестована Груша. Я спрашиваю:

— Куда повезли? В Ржев?

— В Ржев, многоуважаемый, в Ржев... Через Зубово и Сычевку...

Я говорю Феде:

— Седлай.

Он бросился к стреноженным лошадям. Я жду. Мне холодно. У меня дрожат руки.

9 августа.

Я вброд переправился через Взмостю и, не разбирая пути, поскакал к Сычевскому тракту. Я скакал по лесным тропинкам, по оврагам и сжатым полям. Ветви обжигали лицо, шумели листья в ушах. Взмыленный конь храпел,— я вспомнил Голубку. Я бил его до изнеможения нагайкой, я рвал шпорами исхлестанные бока. Он

шатался, когда вдали показалась Сычевка. Поздно. В Сычевке не было Груши.

10 августа.

Федя ходил в Ржев. Он узнал, что Груша сидит в «Чека». Ее допрашивали,— она не вымолвила ни слова. Ей грозят «пробками» и Москвой. Я знаю, что значат «пробки». Стены, пол, потолок — обшиты пробковыми щитами. Нет воздуха, нечем дышать. Человек понемногу теряет разум, теряет силы, теряет волю... У китайцев есть пытка крысой. Живую крысу сажают в кастрюлю. Кастрюлю ставят заключенному на живот. Крыса ищет исхода,— перегрызает сначала кожу, потом кишки, потом спину, пока не выйдет наружу, пока не изгрызет, не источит до смерти человека... Не детская ли забава костер?

Я не сплю. Трещат кузнечики в соснах. Их треск, сухой и горячий, не дает мне покоя. Я вижу Грушу, ее высокую и белую грудь. Пахнет сеном... Егоров скосил поляну, и у палатки свежие, окропленные росой, копны. «Господи, неужто погибнем?»... Нет, она не погибнет. Погибнут те, кто скрутил ее. Погибнут гады. Погибнут бесы... Вреде окликает меня в темноте:

— Юрий Николаевич, что делать?

— Как что делать?.. Пойдем в Ржев.

— Но ведь нас всего три десятка...

— Если страшно, оставайтесь, Вреде, в лесу.

Он молчит. Зачем я обидел его? Я ведь знаю: он для Груши первый войдет в Ржев.

11 августа.

Нет Груши... Вечером я не слышу ее шагов, утром не вижу ее улыбки. Я не в тюрьме, я в пустыне. Никто не скажет: «Касатик... Соколик»... Никто не рассмеется

веселым смехом. Никто не заплачет. Кругом глухая и хмурая ночь — «зверь стоокий».

12 августа.

— Ты, Федя, взорвешь мост на Гжати. Вы, Вреде, войдете во Ржев с востока, по московской дороге. Я войду от Сычевки, с юга. Мое дело Че-ка, ваше — Уисполком. Сбор у комендантской команды. Гарнизон небольшой: красные ушли на Калугу, ищут нас под Мещовском. Иван Лукич и Егоров пойдут со мною. Время — три часа ночи.

Вот моя диспозиция. Не диспозиция, а безрассудство. Так сказал бы полковник Мейер. Так, конечно, думает Вреде. Я говорю: гарнизон небольшой, но «небольшой» означает человек триста. Мне все равно, потому что нет Груши, и еще потому, что «преследуйте врагов и настигайте их, и не возвращайтесь, доколе не истребите их».

13 августа.

Мы взяли Ржев. Мы взяли его на рассвете, когда всходило румяное солнце и в пригородной церкви Николы на Кузнецах звонили к ранней обедне. Убит Мокеич, убит Титов, убит Хведощеня, и ранено двенадцать «бандитов». Но город в наших руках. Мы — калифы на час. Где Груша?

14 августа.

Груши нет... Я не нашел ее ни в «Че-ка», ни в уездной тюрьме, ни в казарме. Груши нет... Зачем же я жертвовал «шайкой»? Зачем же мы брали Ржев?

Вреде докладывает, что красные наступают. Из

Москвы идут три дивизии... Три дивизии. Хорошо. Мы уйдем. Хорошо. Мы уйдем без Груши. Я зову Федю:

— Федя, сколько на площади фонарей?

— Не считал, господин полковник.

— Сосчитай. И на каждый фонарь повесь. Понял?

— Понял. Так точно.

15 августа.

Я сказал: «Спасайся, кто может», и уже нет «бандитов» и «шайки». Нет никого. Есть отдельные невооруженные люди. Они рассеялись по окрестным лесам. С кем же красные будут драться?

Я верхом ухожу из Ржева. Чего я достиг?.. Вот опять знакомое, столетнее, утомление. Нет, хуже. Позади — опустелый лагерь, впереди... На что надеяться впереди? Запылали деревни вокруг, свищет плеть, трещат пулеметы. Нет конца самоубийственной бойне. Изошла слезами Россия, и исчах великий народ.

Вечереет. Красным заревом разгорелась заря и погасла. На прозрачном, бледно-зеленом небе девять черных столбов. Девять повисших тел. Все без шапок, в нижнем белье. Все с открытыми, слепыми глазами. И все качаются на ветру.

За Москву. За Столбцы. За Грушу.

III

3 февраля.

Я подхожу к телефону. 170-03...

. . . .

— Алло! 170-03? Попросите товарища Ковалева.

. . . .

— Алло! Это ты, Федя?

— Я, господин полковник.

— Осторожнее. Какой я теперь полковник?

Я слышу, как он смеется.

— Бог не выдаст, свинья не съест... Плевать я на них хочу...

— Ну что?

— В Кунцеве. На третьем запасном пути.

— Так... Ну, а ты как живешь?

— Я-то? Скоро за усердие в комиссары произведут... Вчера обыск делал. Саботажника одного из белогвардейцев ловил. Только убежал проклятущий...

Я вешаю трубку. Итак, поезд в Кунцеве. Мы тоже «саботажники» и «белогвардейцы». Мы взорвем его на этой неделе.

4 февраля.

Федя — не Мошенкин, а Ковалев. Он состоит сотрудником «Ве-че-ка». Егоров — не Егоров, а Ларионов. Он служит сторожем в Наркомздраве. Вреде — не Вреде, а Лазо. Он в красной армии, командует эскадроном. У всех троих фальшивые, точнее, «мертвые» документы — документы убитых. Все трое в партии — «убежденные коммунисты». Иван Лукич — «спекулянт», живет под своей фамилией и держит связь с «Комитетом». Я — без имени, невидимкой, скрываюсь у разных людей. Эти люди, конечно, рискуют жизнью.

Я в Москве. Невозможное стало возможным...

Я могу сказать про себя: «Я день и ночь пробыл в глубине морской, был много раз в путешествиях, в опасностях от разбойников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в труде и в изнурении, часто в бдении, часто в посте, на стуже и в наготе».

Где я теперь? Не снова ли в «глубине морской»?

5 февраля.

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе...

А сегодня... Сегодня я не нахожу любимой Москвы. Сегодня мне все чужое. На площадях — казенные «монументы». На вывесках — оскорбительные для русского уха слова. Памятник Марксу. Господи, Марксу!.. И тут же Наркомздрав... Пролеткульт... Москвотоп... Наркомпрод... Я иду по Арбату. Сияет зимнее солнце, хрустит под ногами снег. Те же тополи, те же березы, те же задумчивые особняки. Тот же уездный, московский, быт. Но вот загудела, задымила нефтью «машина». Грохот и нахальный свисток. Проносятся «владыки мира сего». «В гору холуй пошел»... Я опускаю глаза. Я не хочу, я не могу видеть их.

Ольга жила на Цветном бульваре. Я вошел на широкий двор и поднялся в четвертый этаж. Мне открыл скуластый, в кожаной куртке «товарищ»: «Нет такой... Не живет»... Когда захлопнулась дверь, я долго стоял на площадке. Темнело. Внизу, в «домкоме»,— в швейцарской — ругались громкие голоса.

6 февраля.

В моей комнате голые стены и накрытый грязной скатертью стол. На столе нечищеный самовар. За самоваром Егоров. Он пьет чай. Он пьет его по-крестьянски — с блюдечка, и вприкуску, и, разумеется, из своей посуды. Он носит ее в кармане.

— Как же ты пьешь в Наркомздраве? Ведь религия — «опиум для народа»...

— Как пью? По закону... Один бес пытался было подъехать ко мне: «Какой, мол, ты коммунист? Какой, мол, ты бессознательный пролетарий? Бога нет. Бога

выдумали попы»... Ну, я его поучил маленько: «Коммуна коммуной, а о боге не смей. Не то голову отвинчу»... Ох, господин полковник, не пристало мне ползать ужом. Да и толку нет, пока что... А грех-то, грех-то какой...

— В чем грех, Егоров?

— Как в чем? Цельный день промежду бесова́ми. Бесовские речи слышишь. Бесам угождаешь. Того и гляди, и сам в бесы угодишь...

Хозяйка, Пелагея Петровна, выносит выпитый самовар. У нее истощенное, с зеленоватым оттенком лицо. Ее муж, механик, работает на заводе,— «не на заводе, а на каторге царской», как она говорит. Егоров косится исподлобья:

— Тоже бесовка?

— Нет, своя... Слушай, Егоров...

— Я, господин полковник.

— В Кунцеве, на третьем запасном пути, стоит поезд. В нем снаряды для московского гарнизона. Завтра у тебя службы нет. Ты взорвешь его во время обеда.

Он кивает длинною бородой: «Вот и толк, слава богу». Потом говорит отчетливо, как в строю:

— Слушаюсь, господин полковник.

7 февраля.

Кунцево. Морозное утро. Снежный блеск ослепляет глаза. Направо парк, пушистые треугольники елей,— «пивные бутылки», сказал бы «художник» Федя. Налево станция,— рельсы. Третий запасный путь.

Без пяти минут час. Я жду... Я вижу: в четвертом вагоне от паровоза блеснула искра. Она блеснула, потом погасла. Потом вдруг вспыхнуло пламя. Раздался гул, глухой и короткий. И сейчас же, взметая щепки, из вагона вырвался смерч. Он фонтаном взвился до небес и расплылся продолговатым, огненно-желтым, ог-

ромным кольцом. Это кольцо застыло. Оно повисло над лесом,— грозный и всевидящий глаз.

Засвистели осколки... Я не пытался уйти. Ноги вросли в холодную землю. Я ждал конца. Я ждал последнего взрыва. Зачем? Я не знаю... Я хочу и не умею сказать.

8 февраля.

Мое окно выходит во двор. Пейзаж — мусорная яма и сосульки на водосточной трубе. Полумрак даже в полдень. Зловоние даже в мороз. И это Москва?

Издали, в лесу и в походе, Москва сияла путеводной звездой. Ну вот, я в Москве. Светлый праздник? Нет, будни. Будни — утренний самовар, будни — серая Пелагея Петровна, будни — Пречистенка и Арбат. Трудно жить без «возвышающего обмана». Еще труднее бороться. Груша боролась за жизнь. За что я борюсь?

Я не верю в «программы», и разумеется, не верю «вождям». Я тоже борюсь за жизнь, за право жить на земле. Борюсь, как зверь, когтями, зубами, кровью... Я сказал: «...на земле». Неправда. Не на земле, а в России, только в России. Пусть будни. Пусть мусорная яма. Пусть полумрак. Но это свое и родное. Как своя и родная Ольга.

9 февраля.

Мы сидим на Страстном бульваре. Сумерки. В переулках — ветер. Зажигаются фонари. Федя сплевывает:

— А я, господин полковник, «товарища» вывел в расход.

— Что ты, Федя? В Москве?..

— Так точно. В Москве. Начальник мой, Соболь ему фамилия.

— Когда?

— Да ночью сегодня. Узнал я, что он на Девичьем поле живет. Вот и поджидаю в воротах, вроде будто грабитель. Никого. Хоть шаром покати. Вдруг, гляжу: семенит, разбойник, ногами. Ну, я вышел, шапку с него сорвал, да наганом хвать по затылку. Он и сел. Я с него шубу снимаю, а он вытаращил глаза и бормочет: «Ковалев... Ковалев...» Это, стало быть, я. Ну, я его, понятно, пришил.

— И ограбил?

— Неужели, по-вашему, добру пропадать?.. А утром на службе скандал: «Товарищ Соболь убит... в видах ограбления». Я заикнулся: «Товарищи, а может быть, белогвардейцы?» Какой там... Ведь неприятность, если белогвардейцы: недоглядели. А тут еще этот взрыв... Хлопот полон рот. Насилу освободился. Не пускали. Хотели, чтобы я убийцу ловил.

Он ухмыляется. Он и здесь играет в «акульку», без проигрыша, конечно. Вот уж поистине безоблачная душа.

10 февраля.

Сегодня день моего рождения. Я, конечно, забыл о нем. Но Федя вспомнил и поднес мне «картинку». На «картинке» красками нарисован букет. Цветы перевязаны розовой лентой. На ленте стишок:

«Поздравляют вас бандиты
И желают счастья вам,
Вы отец наш знаменитый
На страх гадам и бесам».

Под «стишком» каллиграфически написанный адрес Ольги: Молчановский переулок, десять. Федя узнал его в Вэека... Я нашел Ольгу. Я счастлив.

— Спасибо, Федя... Но почему же «отец», да еще «знаменитый»?

— Знаменитый, потому что прославились в Бобруйске и Ржеве, а отец...

Он сморкается в шелковый, «покупленный», конечно, платок. Потом говорит, моргая единственным глазом:

— А отец, потому, что... потому что не погнушались нами...

11 февраля.

Она вскрикнула и отступила назад. И, не садясь и не предлагая мне сесть, сказала:

— Жорж, ты бандит?

Я взглянул на нее. Вот черное, закрытое доверху платье. Вот узкая, без колец рука. Она острижена. В ней что-то чуждое мне. Монашенка? Или... или... Нет, не может этого быть.

— А ты? Кто ты такая?

Она отвечает твердо:

— Я коммунистка.

Я сел. Я только теперь заметил, что в комнате нет ничего: стол, кровать и два стула. На стене портрет Маркса.

— Ты бандит?

— Да, я «бандит».

— Белогвардеец?

— Белогвардеец.

— Наемник Антанты?

Зачем казенные, заученные слова? Я холодно говорю:

— Меня нельзя купить, Ольга.

— Так для чего?.. Почему?..

Она всплеснула руками. Она силится и не может понять... Я тоже.

12 февраля

Ольга взволнованно говорит:

— Жорж... Ведь ты боролся для революции. Скажи правду, разве вы совершили ее? Ведь мы низвергли царя. Ведь мы завоевали свободу...

— Ольга, не говори о свободе.

— Ведь мы восстановили Россию.

— Не говори о России.

— Почему?

— Потому что свободы нет. Потому что России нет.

— Свободы нет?.. А вы? Не вешаете? Не расстреливаете? Не жжете? России нет? А вы? Не ходите по чужим передним?

— Ольга, молчи.

Она встала. Ее глаза потемнели. Она рукой стучит по столу.

— Что для вас народные слезы и кровь? Что для вас справедливость? Вы Родину любите для себя. Вы свободу цените только вашу... И вы не видите, что рушится старый мир... Нет... Вы предали революцию... Вы изменили России... Вы враги... Слышишь, Жорж, ты мой враг...

Я тоже встаю.

— Что же, Ольга? Донеси на меня.

— Что ты? Господи, что ты, Жорж?..

Она закрыла лицо и плачет. Кто это? Ольга?.. И где я? В келье? В скиту? И зачем этот образ,— в золоченой раме портрет?.. Я слышу,— она говорит сквозь слезы:

— Жорж... Жорж... Зачем ты пришел?

13 февраля.

Зачем я пришел?.. «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее: итак, если ты поклонишься мне, то все будет

твое». Искушавший говорил почти правду. Царства принадлежали ему, камень иногда становился хлебом, и можно броситься вниз и не преткнуться ногой. В этом «почти» — весь соблазн. Что есть истина? Мы не знаем ее. Не знают ее и они. Пройдет мгновение — и не будет виселиц и расстрелов. Не будет Феди. Не будет Чека. Настанет «благополучие».

Не колодец разверзся. Тьма ослепила глаза. Ольга, и — самодовольный, в тупом величии, портрет. Ольга, и — проповедь искушения. Ольга, и — неистовый гнев. Вечер. В комнате пусто. За стеною храпит хозяин. Мне холодно. Я не зажигаю огня.

14 февраля.

Федя вбегает ко мне. Он бледен. Его рыжие волосы в беспорядке. Я только однажды видел его таким: во время ночной атаки.

— Едва добежал, господин полковник... Приготовьтесь. Дом окружен.

Я не верю. Я не верю, чтобы в «Че-ка» узнали мой адрес. Он известен только своим. А между нами предателей нет.

— Федя, вздор говоришь.

— Взгляните в окно.

Я взглянул. Да, во дворе стоит часовой. Что это? Нелепый случай?.. Федя вынимает револьвер. Я вижу, как у него трясется рука.

Что делать? Мы в мышеловке... Я тоже ставлю браунинг на «огонь».

— Федя, у тебя с собой партийный билет?

— Так точно.

— И удостоверение «Че-ка»?

— Так точно.

— Ну, так иди вперед.

Он понял. Лицо его просветлело. Мы проходим через

столовую в кухню. В столовой возятся дети. В кухне пахнет мокрым бельем. Пелагея Петровна шепчет: «Не ходите ради Христа: убьют»... Но Федя быстро шагает к воротам.

Вот и улица. На улице грузовик. Он пыхтит,— дребезжат оконные стекла. Гололедица. Капает с крыш. Блестит на солнце Христос Спаситель, Федя крестится:

— Бог пронес, господин полковник... Не потопила богородица наш город Псков...

15 февраля.

Меня приютил мой старый знакомый, профессор. Он читает биологию, зоологию, минералогию,— я не знаю, какую именно «логию». Он с утра уходит на службу, и я остаюсь один.

Не дом, а каменная коробка, не квартира, а научный музей. Микроскопы, колбы, реторты, графики и раскрашенные таблицы. Над камином стенные часы-кукушка. Она кукует каждые полчаса. Медленно ползет время,— догорает ненужный день.

Я когда-то сказал: «Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я пью вино цельное». Я пью его сейчас. «Не убий»... «Не убий», когда убивают твою жену? «Не убий», когда убивают твоих детей? «Не убий»,— и оправдано малодушие, возвеличена слабость, и бессилие возведено в добродетель... Да, убийцы «умрут от язв». Но «боязливых, и неверных, и скверных,— участь в озере, кипящем огнем».

16 февраля.

Долго ли продлится мой карантин? Федя волнуется. Он советует выходить. Я один, с глазу на глаз с кукушкой. Тихо. Тихо так, как бывает в комнатах глубокой зимой.

Тьма ослепила глаза... Разве это прежняя Ольга?

Где косы? Где белое платье? Где радостный и беспечный смех? Где Сокольники? Где невозвратимые дни?.. Велик и тяжек соблазн. Темный Егоров чувствует его сердцем. Его не понимают ни Федя, ни Вреде, ни, конечно, Иван Лукич. Для них все ясно и просто. Россия и «Коминтерн». Мужик и рабочий. Они за мужика и Россию. Я тоже за мужика и Россию. Но я знаю, я помню, что сказано было в ответ. А Ольга?..

17 февраля.

Слава богу, нарушено мое «табу». Федя мне позвонил: в Чека получено донесение, что я выехал из Москвы. Меня ищут в Киеве и Одессе. По вечерам приходит Иван Лукич. Иван Лукич располнел и обрился. На нем модный, стянутый в талии пиджак и золотая цепочка. Не часы ли «со звоном»?.. Он говорит от имени «Комитета».

— Комитет недоволен взрывом.

— Почему?

— Мешаете работе.

Может быть, он и прав. Мы отравлены кровью. Мы без крови не понимаем борьбы. А «комитетчики» грызут «Совнарком», как мыши: тихо, настойчиво, осторожно. Их жизнь тяжелее нашей. У них бессменные будни, неблагодарный и кропотливый труд. Сначала труд, потом, конечно, тюрьма. А «перчатки»? А «сосиски»? А «пробки»?

— Комитет предлагает другое.

— Что именно?

— Начальника «Ве-че-ка».

Начальника «Ве-че-ка»... Я колеблюсь. Ведь он, как царь,— за семью печатями и замками. Но «взялся за гуж, не говори, что не дюж».

— Хорошо.

— Так я передам.

— Передайте. Ну, а вы? Что у вас?

Иван Лукич вынимает туго набитый бумажник. В бумажнике доллары и фунты.

— Видите. Вот. Табаком торговал.

Он торгует. Он «спекулянт». «Каждый муравей свою соломинку тащит»... Да, он, наверное, купит хутор, он, наверное, разведет голландских коров. Но ведь и коммунисты «в свой карман норовят,— и только».

18 февраля.

Я призвал к себе Вреде и Федю. Вреде — «коммунистический комсостав». Звенит сабля, звякают шпоры. Не хватает только погон.

— Ну что, Вреде, сняли погоны?

Он краснеет.

— И не жалею. Надо правду сказать. Ведь мы ничего не знали. Какой это сброд? Это армия, настоящая армия... Пусть красная, а все-таки наша.

Федя насмешливо замечает:

— Правильно, господин поручик. По морде хлещут за милую душу. Хлещут, да еще с прибауткой: «Это тебе не Временное правительство. Это тебе не старый режим. Как стоишь, сукин сын?»... Ей-богу.

Вреде сердится:

— Это неправда.

Неправда?.. Вот где сила и власть вещей. Вреде снова чувствует себя офицером. Она на коне, в строю, впереди эскадрона. Он почти забыл, что он белый. Я нерешительно говорю:

— Что вы думаете о начальнике «Ве-че-ка»?

Но он отвечает без колебания:

— Я, Юрий Николаевич, всегда готов.

— А ты, Федя?

Федя молчит. Потом качает задумчиво головой:

— Прикажут — надо идти. А только трудное это дело. Где уж нам ежей давить, господин полковник.

19 февраля.

Да, зачем я пришел?.. Меня снова гложет тоска — тоска по вольной жизни, по лесу. Мне тесно, меня давят камни в Москве. И я не смею думать об Ольге. Она всплеснула руками. Она не в силах понять. Но ведь я сказал: «И я тоже»... Вот вчера я шел с Егоровым по Ильинке. У торговых рядов, у стены, стоял татарин в рваном халате. Он протягивал шапку. На шапке была приколота надпись: «Товарищи, подайте на гроб». Егоров остановился. Он посмотрел на засаленные бумажки и плюнул.

— Жалеют... Чего тут жалеть? Околевает, а все еще терпит бесов, товарищами зовет. Вот господь и прогневался на него.

На той стороне «бесы». Что на этой? Разве Егоров выстроит новую жизнь? Разве Федя посеет здоровое семя? Разве Вреде не взбунтовавшийся барин? Разве Иван Лукич не кулак? Что приносим мы с собою России?.. Но ведь «господь прогневался» не на нас. «Господь прогневался» на того, кто не борется, кто, и умирая, покорен «бесам». А Ольга?..

20 февраля.

Я говорю Ольге:

— Значит, можно грабить награбленное?

— А ты не грабишь?

— Значит, можно убивать невинных людей?

— А ты не убиваешь?

— Значит, можно расстреливать за молитву?

— А ты веруешь?

— Значит, можно предавать, как Иуда, Россию?

— А ты не предаешь?

— Хорошо. Пусть. Я граблю, убиваю, не верую, предаю. Но я спрашиваю, можно ли это?

Она твердо говорит:

— Можно.

— Во имя чего?

— Во имя братства, равенства и свободы... Во имя нового мира.

Я смеюсь:

— Братство, равенство и свобода... Эти слова написаны на участках. Ты веришь в них?

— Верю.

— В равенство Пушкина и белорусского мужика?

— Да.

— В братство Смердякова и Карамазова?

— Да.

— В вашу свободу?

— Да.

— И ты думаешь, что вы перестроите мир?

— Перестроим.

— Какой ценой?

— Все равно...

. . . .

Она чужая. Мне душно с ней, как в тюрьме.

21 февраля.

— Итак, довольно прочитать десять книг, чтобы истина стала понятной?

— Смотря каких книг.

— Евангелие?

— Нет, Евангелие для детей.

— Итак, довольно крикнуть с балкона «режь», чтобы поднять за собою стадо?

— Не стадо, а русский народ.

— Народ-богоносец?

— Нет, свободный народ.

— Итак, довольно поверить какому-то Марксу, чтобы отречься от родины, от родного гнезда?

— Ты мучаешь меня, Жорж...

— Чтобы исковеркать язык, растоптать отцовскую веру, разорить голодных и нищих и расстреливать беременных баб?

— Жорж...

— Чтобы унизить русское имя и служить проходимцам, для их корысти, их лжи?

— Жорж...

— Ты помнишь, Ольга: «Если Ты поклонишься, то все будет Твое...» Иди, и поклонись. Нет, ты уже поклонилась... Теперь все твое. Тебе, вам, дана власть.

Она упала грудью на стол. Она рыдает навзрыд. Меня ждет Федя. Я ухожу.

22 февраля.

Федя докладывает:

— Убили вас, господин полковник, ей-богу, убили... Вчера донесение: вернулся, мол, из Одессы в Москву. Сегодня утром другое: приедет в восемь часов в Петровский парк, на «машине». Батюшки мои!.. Захлопотали, засуетились. Сейчас роту к Тверской заставе. Ну и я, многогрешный, тут. Верно: слышим — стучит «машина».— «Стой!.. Вылезай!.. Документы!»... Вылезает так себе, господин.— «Я,— говорит,— Алексюк, на службе в Госбанке».— «Алексюк?.. На службе в Госбанке?.. Знаем. За нами!..» Тот — туды-сюды и уже побледнел: караул! Прошел шагов пять, да со страху в кусты. Раз-раз... Из всех винтовок стали палить. Я наклонился, а в нем и дыхания нет. Тогда старший говорит: «Собаке собачья и смерть»... Это то есть про вас... Вот так и убили.

— Федя, ты донесения писал?

— Никак нет. Что вы? Разве бы я посмел?

Я знаю: он врет. Он опять играл и выиграл, конечно, в «акульку»: «уж такой, значит, фарт».

23 февраля.

Арестовали Вреде. Его арестовали в манеже, после учения, и на грузовике отвезли в «Ве-че-ка». Он не сопротивлялся. Федя просит меня оставаться дома. Довольно: мне надоел карантин. Ольга... Ольга чужая, но ведь чужая только потому, что своя. Вреде тоже был свой,— свой и чужой, конечно. В каждом из нас есть частица правды. Только частица, только ничтожная доля ее. Кто посмеет сказать, что познал ее целиком?

24 февраля.

Неужели начальник «Ве-че-ка» не будет убит? Федя клянется, что Вреде арестован случайно. Но случайно окружили меня, случайно арестовали Вреде... «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг». Мы не дремлем. Не дремлют, разумеется, и они. Волк за тридцать верст чувствует человека. Так и они нас. Так и мы их. Я ощущаю опасность. Я угадываю, что она бродит вокруг. Егоров стал мрачен. Он вспоминает Синицына и жалеет, что в Москве нет костров. «Но кого жечь, Егоров?»... «Кого?.. Небось, знаешь сам...» Я не знаю. Ведь не Федя же? Не Иван же Лукич?

25 февраля.

Вреде расстрелян сегодня, на Лубянке, в подвале. Перед смертью он написал мне письмо. Письмо принес Федя. «Я знаю, что скоро умру, но не жалею о жизни.

Моя совесть чиста: я исполнил свой долг. Я служил, как умел, России. Пусть я сделал немного, другие сделают больше. Верю в Россию, в ее славу, ее свободу, ее величие. Верю в русский народ и за него умираю».

Счастливый Вреде. Хорошо умереть с непоколебимой верой в душе, с сознанием своей непререкаемой правоты. Хорошо в последний, в предсмертный час заглянуть в свою совесть и помолиться: «Господи, я исполнил свой долг». Хорошо отдать жизнь «за други своя»... Так умер и Назаренко.

26 февраля.

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

— Жорж, ты помнишь эти стихи?

— Помню. Но ведь, по-твоему, Христос для детей...

— Да, для детей, а вот слушай. Мы начали с Брест-Литовска и кончили защитой России. Вы начали с наступления и кончили на чужих хлебах. Правда это?

— Да, правда.

— Слушай еще. Мы начали с пулеметов и кончим свободой. Вы начали со свободы и кончили карикатурным царем. Правда это?

— Пусть правда...

— Так почему же ты против нас?

Она сидит строгая, с бледным лицом, в том же черном, без украшений платье. Я смотрю на нее. Я ищу следы прежней Ольги. Вот любимые голубые глаза. Но

и они как будто не те. Где их власть надо мною?.. Нет, опять не праздник, а будни... Я говорю тихо:

— А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себя. Где ваш «Коммунистический манифест»?.. Подумай. Вы обещали «мир хижинам и войну дворцам», и жжете хижины, и пьянствуете во дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостыню «на гроб», а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни приказывают, а другие повинуются, как рабы. Все, как прежде, как при царе. И нет никакой коммуны... Обман, и звонкие фразы, да поголовное воровство. Правда это? Скажи.

Она молчит. Она не смеет ответить.

— Скажи.

— Да, правда.

27 февраля.

Разве можно убедить Ольгу? А если можно, то я спрашиваю — зачем?.. Она плачет. Но я знаю: она плачет не о своих ошибках и даже не обо мне. Она плачет о нашей любви... Мы оба блуждаем в тумане. В нас нет невинности Феди, огня Егорова, чистоты Вреде, того, что успокаивает сердца. Мы знаем, что виноваты. Поразному, но все-таки виноваты. Или не виноват, не может быть виноват, никто. Все правы. Все «прах земной», и все «пух»... Где всадник с мерой в руке?

28 февраля.

Между нами сказано все. Все ли, однако?

— Жорж...

— Что, Ольга?

— Ты меня ненавидишь, Жорж?

— Нет, Ольга.

— Но ты и не любишь меня?.. Ты любишь другую?

Другую?.. Я вспоминаю внезапно Столбцы, лунный свет и белый платок. Я вспоминаю звезды, и лес, и запах свежего сена. Я слышу: «Любиться со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню...» Любил ли я Грушу? Не знаю. Тогда мне казалось, что не люблю.

— Ответь.

Она поднимает испытующие глаза. Она пристально смотрит. Потом говорит:

— Ты любишь другую... Так зачем, зачем ты пришел? Зачем смутил? Зачем посмеялся?.. Ну, я твой враг, ты ненавидишь меня. Так уйди, Жорж, уйди...

— Хорошо. Я уйду.

Я сказал, и она испугалась. Она встает и медленно отходит к окну. В серой раме окна высокая и черная тень. Ольга, та Ольга, для которой я здесь.

— Да, Жорж, уйди.

1 марта.

Иван Лукич уехал на юг по делам «Комитета». Вероятно, он боится «Че-ка», вероятно, также торгует хлебом. Хлеб, табак, какао, вино,— он не брезгует никаким товаром. Он копит деньги на «хутор».

Егоров возмущен. «Бросил. Стрекача задал... А все из корысти. Разве в нашем деле возможна корысть? В нашем деле надо в чистой рубашке, как, например, господин поручик. Ах, окаянные... Поганят народ, рублем соблазняют...» Он ютится на заднем дворе, в клетушке. В правом углу — образа: Бог Саваоф и Христос Спаситель; в левом — высокий, окованный железом сундук. В нем браунинги, патроны, бомбы, ручные гранаты. Крышка с внутренней стороны заклеена лубочной картиной: «Жизнь человека». Восхождение: детство, юность, женитьба. Нисшествие: женитьба, ста-

рость, могила. Под могилою — ад: черти с трезубцами и хвостами и геенна, «вечный огонь». Егоров тычет пальцем:

— Вот. Забывают люди про это.

Я говорю:

— Егоров, уезжал бы и ты.

— Никак нет, господин полковник.

— Смотри, Егоров, ведь арестуют.

— Не арестуют... Я их всех сундуком взорву.

Я улыбаюсь:

— А это не грех?

— Грех?.. Грех бесо́в сокрушать?.. Где это слыхано, господин полковник?

2 марта.

Федя звонит, что нас ищут. Я и ему предложил уехать. Он, разумеется, отказался: «Где вы, там и я, господин полковник. Помирать, так уж вместе, черт бы их всех побрал...» Я знаю, что мы играем с огнем, но не хочу, не могу бросить дело: я сохраняю надежду, что Федя узнает адрес начальника «Ве-че-ка». «Ве-че-ка»... Какая стыдливость... Почему не «Охранки»? Ведь тот же, царский, застенок и тот же, Шемякин, суд.

Я хожу по Москве. Хлопьями валит снег. Он застилает бульвары, площади, переулки. Белеют крыши домов. Белеет трепещущий воздух. Бьют на Спасской башне часы. Я думаю о наших свиданиях — об Ольге. Ее вера — мое неверие. Ее радость — мое несчастие. Ее победа — мой бесславный конец. И обратно, конечно... Мне тяжело возвращаться к ней.

3 марта.

Истины нам знать не дано. Но то, что мы знаем, разорвано на две части. Одна у них, другая у нас. Не

всякое слово облечется в живую плоть, но всякое может изойти кровью. Их слово изошло ею. Пролились не реки, а океаны. Во имя чего? Ольга говорит: во имя братства, равенства и свободы. Ей снится сон. Сон снится и мне. А явь? Не суета ли сует?

Я поднял меч. Я не мог его не поднять,— не мог, потому что я сын России. А теперь? «Друзья мои и искренние отступили от меня, и ближние мои стоят вдали. Я близок к падению, но скорбь моя всегда передо мною».

4 марта.

Я, конечно, вернулся к ней. Ее комната тоже чужая. Слишком голые стены. Слишком наглый, слишком обидный портрет.

— Ольга, сними.

Она послушалась. Она снимает золоченую раму, потом садится и берет мою руку.

— Хочешь, Жорж, я погадаю тебе?

Я не верю в гадания. И я не верю, что она хочет гадать. Я говорю:

— Не надо... Ты где-нибудь служишь?

— Служу.

— Где?

Она называет какой-то «ком». Попечение о детях. О «пролетарских» детях, конечно.

— В партии?

— Да.

Я вешал за партию... Я молчу. Она тоже долго молчит.

— Жорж...

— Что, Ольга?

— Так где же, по-твоему, правда? Ведь не в белых же?

— Нет.

— Не в зеленых же?

— Нет.

— Не в старых же партиях?

— Нет.

— Так где же?

— Не знаю... На заводе, в казарме, в деревне, у простых и неискушенных людей. Но не в вас.

Она встала и наклонилась ко мне. И вдруг быстро и сильно обнимает меня. Я чувствую ее тело — ее высокую и мягкую грудь. Так обнимала Груша.

— Мне некогда, Ольга. Прощай.

5 марта.

— Жорж, ты любишь другую?

— Не знаю, Ольга, не знаю...

— Не знаешь?.. Ты меня разлюбил... Как я ждала тебя, Жорж. А потом... Потом... ты «бандит»... Я не могла. Ты должен понять... Но скажи, кто она? Кто другая?

— Ольга, ее уже нет.

— Значит, правда? Значит, я не ошиблась?.. Нет, Жорж, я не люблю, я ненавижу, да, ненавижу тебя...

Она плачет. Льются женские, обильные слезы,— как у Груши в лесу.

— Ольга...

— Нет... Ты изменник. Ты предатель. Ты враг народа... Ты наш, ты мой враг...

— Ольга...

— Я тебе сказала: уйди.

Второй раз она гонит меня. Пусть так. Мне жалко моей любви. Но у меня нет ни гнева, ни сострадания. На улице я забуду о ней.

6 марта.

В «Известиях» напечатано: «Новое преступление белогвардейцев. Предательский взрыв в Наркомздраве. Ве-че-ка, стоя на страже революционных завоеваний, открыла очередной заговор наемников Антанты, меньшевиков и эсеров. 5 марта, в 4 часа пополудни, агенты ее явились для ареста некоего Петра Ларионова, служившего сторожем в упомянутом учреждении. Ларионов, оказавшийся опасным бандитом, забаррикадировался в своей квартире. В ответ на требование выдать оружие, раздался оглушительный взрыв. Убиты товарищи Вецис, Бирк и Щепанский. Здание Наркомздрава повреждено. Бандит изуродован взрывом настолько, что не мог быть опознан. Смерть предателям! Да здравствует РСФСР!»

«Бандит изуродован взрывом»... Егоров сделал так, как сказал. Да, он вешал, расстреливал, даже жег на костре. Но ведь он боролся с «бесами». Но ведь он не курил и не осквернялся чужой посудой. Довольно ли этих заслуг, чтобы избежать того, о чем «забывают люди»? Он верил. Да святится вера его.

7 марта.

Егоров был темный старик, ибо темны народные недра. Темна невспаханная земля, богата и плодородна. Он корнями ушел в нее. Но «сделалось землетрясение великое». Пошатнулась древняя жизнь. А новая... Что дала ему новая? «Убили сына и дом сожгли»... Бесовское наваждение.

Я слушаю, как в трубе воет ветер. И мне кажется, что я не в Москве, а в лесу и что гудят вершинами клены. Вот Егоров выйдет из темноты, перекрестится двуперстным крестом и скажет: «Эка, прости господи, благодать»... И, освежая и радуя, зашумит летний дождь.

8 марта.

Федя сидит в углу. Он курит папиросу за папиросой. Он похудел, под глазами у него синяки. Он, кажется, проигрывает в «акульку».

— Сматывать бы удочки, господин полковник.

— А начальник «Ве-че-ка», Федя?

— Очень уж тяжело, господин полковник. Даже ко мне и то начали приставать: «Давно ли в партии? Где раньше служил? Сидел ли в тюрьмах? В каких?»... Я вру, как пес, да ничего не выходит. Хитрые стали, мерзавцы. Не перехитришь подлецов...

— Ты адрес узнал?

— Узнать-то узнал... Да, что, господин полковник?.. Ей-богу, заберут, как курят...

— Ну, так уходи, Федя. Ты мне не нужен.

Он бросает окурок в камин.

— Раньше субботы никак не возможно. Уехал. Вернется только в субботу. А до субботы...

Он машет безнадежно рукой. Он боится: в сердце мертвая мышь. Я перебиваю его:

— Я сказал: дай адрес и уходи.

9 марта.

Федя никуда не ушел. Его в тот же вечер арестовали. Я снова читаю «Известия». В них сказано, что «белогвардеец», агент Ковалев, убит при попытке к бегству. Значит, и Феди нет. Нет никого. Я один.

10 марта.

Ждать до субботы... А сегодня четверг. Я как затравленный зверь, как комиссарша в Бобруйске. Я скучаю о лесе. Уныл Василий Блаженный, и безрадостен Кремль. Вот стена — могилы павших в бою коммунис-

тов. Им — слава и вечный покой. А мне?.. Мне широкий простор. Шуршит в лесу примятый орешник, приподнимается брезент над палаткой,— входит Груша босыми ногами: «Бей их, бей, чтобы ни один живым не ушел, чтоб поколеть им всем, окаянным»...

11 марта.

Да, Федя был прав: надо «сматывать удочки». Я вышел вечером на Тверскую. Я шел без мыслей, без цели: я задыхался в своей коробке. Внизу, на площади, меня догнала «машина».— «Товарищ, стой!.. Руки вверх!»... Я успел вынуть браунинг: я всегда ношу его в рукаве. Я поднял правую руку и, не знаю зачем, стал стрелять. Я не видел людей,— я видел черные тени. Я нажимал на курок, пока не щелкнул последней пулей затвор. Тогда я очнулся... Я огляделся. Было пусто и очень темно. На мостовой, на мокром снегу, лежало три человека. Стучал мотором оставленный грузовик. Я свернул в переулок... Итак, начальник Ве-че-ка не будет убит.

12 марта.

Я прощался с профессором, когда позвонили. Профессор вздрогнул. Я взял браунинг и пошел отворить. На пороге стояла Ольга.

— Почему у тебя револьвер?

— Меня ищут.

— Кто ищет?

— Твои друзья, коммунисты.

Она не села, а почти упала на стул, как была — в папахе и шубе.

— Жорж... Ты уедешь? Да?

— Да, Ольга.

— Жорж, милый, возьми меня с собой... Жорж.

— Куда?

— Куда хочешь.

«Возьми меня с собой, куда хочешь»... Так просила и Груша... И почему эта женщина в папахе, с коротко остриженной головой, эта чужая мне незнакомка, говорит со мною на «ты» и зовет меня Жоржем?

— Нет, Ольга.

— Жорж, будь кем хочешь, делай что хочешь, но не отказывай... Пожалей... Ведь я люблю тебя, Жорж. Ведь я любила тебя всегда...

— Нет, Ольга.

— Потому что я коммунистка? Потому что я была против вас?

Я молчу.

— Ну, скажи же... Скажи.

Она не плачет. Глаза ее сухи. Она ждет. Так ожидала Груша ответа... Другого ответа.

— Потому что я тебя не люблю.

Я сказал и сам не поверил себе. Она потупилась. Звенел стаканами на кухне профессор. Тикали стенные часы-кукушка, и, помню, за окном кружился медленный снег.

13 марта.

Я в вагоне. Пахнет полушубками и махоркой. В дальнем углу, в темноте, какой-то малый «наяривает» на балалайке:

Ах, коммуния, коммуния моя!
Ах, и рожа-то вся подлая твоя!

Чего я достиг? Позади — свежевырытые могилы. Впереди... Что ожидает меня впереди? Труден путь и далек, и не видится, и не предчувствуется конца. Завтра они падут. Кто их заменит? Феди, Егоровы, Вреде? Или белоручки, святые Касьяны, не вложившие в яз-

вы перстов? Но ведь надо строить, не разрушать... Ольга... Я сказал, что я ее не люблю. Да, мир опустел для меня. Россия — Ольга, Ольга — Россия. Неправда. А Груша?.. Нет Груши, нет и мечты об Ольге. Замкнулся круг. Не тот ли последний, когда утрачивается надежда?

У коммунии карманы все в дырах!
У коммунии полцарства в ворах!

Свистит пронзительно паровоз, погромыхивают колеса. «Наяривает» в темноте балалайка. Мчится поезд. Куда?

14 марта.

Мчится поезд. Я вижу: под обнаженной березой, без шапки стоит человек с веревкой на шее... «На что крестишься? крестись на восход»... Я вижу: разгорается огонь, белеют голые плечи... «Бороду-то, бороду ему подпали»... Я вижу: пылает деревня, сверкнул на солнце топор: «Убью!» ...Мчится поезд. «Товарищ, эй, не трусь! Пальнем-ка пулей в святую Русь..!»

Пальнули. И, раненная, бьется Россия. Пальнули не только они, пальнули и мы. Пальнули все, у кого была винтовка в руках. Кто за Россию? Кто против?.. Мы?.. Они?.. И мы и они?...

Сроков знать не дано. Но встанет родина,— встанет нашею кровью, встанет из народных глубин. Пусть мы «пух». Пусть нас «возносит» ненастье. Мы, слепые и ненавидящие друг друга, покорны одному, несказанному закону. Да, не мы измерим наш грех. Но и не мы измерим нашу малую жертву... «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей».

СЕРГЕЙ КАЛЕДИН

СТРОЙБАТ

...Эмблема наша — кирка с лопатой:
Дороги строим сами.
Солдат не только человек с автоматом,
Надо — рабочим станет!

К. Карамычев
(из «боевого листка» 4-й роты).

1

— Бабай!.. Кил мында!..

Бабай дернул башкой, оторвал ее, заспанную, от тумбочки, вскочил, чуть не сбив со стены огнетушитель, и ломанулся не в ту сторону.

— Баба-ай!..— Голос Женьки Богданова догнал его в чужой половине казармы.

Дневальный пробуксовал на месте, сменил направление и помчался обратно.

— Опаздываешь,— недовольно пробурчал командир второго отделения, забираясь к нему на спину.— Поехали!

Бабай привычным маршрутом вез Женьку на оправку. Если бы у Женьки под рукой были сапоги, Бабай спал бы себе и дальше. Но дембельские хромачи Богданова были намертво придавлены к полу вставленными в голенища ножками койки, а на койке спит Коля Бело-

шицкий, и будить его Женька не хотел. А чужими сапогами он брезгует.

— Тпру-у! — Женька затормозил Бабая у тумбочки дневального, перегнулся, как басмач с коня, прихватил с табуретки бушлат, накинул на плечи и выехал на Бабае в холодную мартовскую восточно-сибирскую ночь.

У освещенных ворот КПП стоял «газик». Значит, подполковник Быков уже в расположении части, значит, скоро шесть, подъем и ночному отдыху конец.

Так и есть, Быков топтался у штабного барака, сбивая следы мочи с прилегающего к штабу сугроба.

Женька резво соскочил с Бабая.

Бабай побежал обратно в роту, а Женька, обжигаясь босыми ногами о шершавую подмороженную бетонку, свернул за казарму. Возле развороченного туалета в ослепительном свете пятисотваттной лампы колупался с лопатой в руках его приятель Константин Карамычев. Костя нагружал тачку отдолбленным дерьмом.

— Но пасаран! — Женька вскинул кулак к плечу.— Бог помощь!

— Ножкам не холодно? — отозвался Костя.

— Самое то.— Женька пританцовывал на снегу татуированными возле пальцев ступнями: на правой — «они устали», на левой — «им надо отдохнуть».— Когда Танюшку навестим? — поинтересовался он, заканчивая оправку.— Года идут, а юность вянет.

— Обстучишься. У тебя Люсенька есть.

— Люсенька?! — возмутился Женька.— Люсенька — боевая подруга. А Танюшка — барышня... И завязывай ты наконец с дерьмом! — Женька брезгливо поморщился.— Где эти-то? Фиша-а! Нуцо!.. Ком цу мир!

Женька завертел красивой головой, похожей на голову артиста Тихонова. Только у Тихонова шея нормальная, а у Женьки кривая — скривили, когда щипцами тащили его из пятнадцатилетней матери. За шею и в стройбат попал.

Из ямы за спиной Кости показались две взлохмаченные головы, обе черные. Одна — красивая, но грустная — принадлежала закарпатскому еврею Фишелю Ицковичу, глаза подслеповатые,— оттого и стройбат, а вторая, с золотыми зубами,— цыгану Нуцо Владу. Золотые зубы изготовлены были из бронзовой детали водомера ротным умельцем Колей Белошицким. Сходство бронзы с золотом спасло Нуцо от гнева родителей, приехавших по каким-то своим цыганским делам в Восточную Сибирь и заглянувших в армию к сыну: мамаша в настоящих золотых зубах, бусах и разноцветных юбках, отец — толстый, коротенький, в черном костюме и шляпе. Деньги, которые они прислали сыну на золотые зубы, якобы запросто вставляемые в Городе, сын пропил сразу, и если б не Коля Белошицкий...

— Чего? — весело дернул башкой Нуцо. У него на все случаи было только одно выражение лица — бесшабашное, ни к какому другому выражению физиономия его не была приспособлена.— Чего орешь?

Фиша смотрел на Женьку строго и недовольно: зачем отрывает от работы?

— Проверка слуха! — Женька зевнул во всю пасть, как лев, и побежал к роте, оборачиваясь на ходу: — Готовь Танюшку, Констанц! Я сегодня кровь пойду сдавать, бабки будут! Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы!..

— Гробá,— пробурчал Костя, принимаясь за прерванную работу.— В час к общаге подъезжай!

Он поправил ударение в «гробах» на уральский лад, потому как с Женькой Богдановым, Богданом, познакомился в прошлом году в эшелоне — их, погань, вывозили из стройбатов Уральского округа.

Потом, уже по приезде в Город, оказалось, что от скверны освобождался не только Урал, по многим стройбатам страны прокатилась очистительная волна.

Везли их исправляться в Забайкалье, куда-то на

границу с Китаем или Монголией. По слухам, житье там было будь здоров: летом плюс пятьдесят, зимой минус пятьдесят, питьевая вода по норме, песок в морду и радиация все половое атрофирует. Это — слухи, а что шоферня стройбатовская там по пятьсот — шестьсот рэ в месяц заколачивает — факт. А полтыщи казна за так платить не будет.

Короче, ехали в ад, а попали в рай. В Город, в Четвертый поселок. От центра Города до ворот КПП двадцать минут ленивой дребезжащей трамвайной езды. Вот ворота, а справа, метров двести,— танцверанда; вот ворота, а слева, метров двадцать,— магазин. А в магазине — рассыпуха молдавская, семнадцать градусов, два двадцать литр. С десяти утра. Малинник! Дай бог здоровья отцам командирам, тормознувшим их по какой-то неведомой оплошке здесь, а не за Читой.

Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние восемь месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал: маслица сливочного заныкать, сахарной пудры — бабам в поселке почему-то очень нужна,— изюмчика килограмм-другой, и пожалуйста: ханка в любом количестве, жри — не хочу.

Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда не надо лоток кренделей глазированных, а так как у Кости со зрением напряженка да и загазованный уже был, прямо на стражу и нарвался. Стража сообщила в часть.

Командир роты капитан Дощинин предложил Косте на выбор: или он дело заводит, или Костя срочно, до активного потепления, чистит все четыре отрядных сортира. Капитан Дощинин объяснил все это прямо, по-мужски, не случайно он был похож на артиста Жженова (у Кости с детства была привычка искать у всех сходство

с артистами кино). Только Георгий Жженов при Сталине, по слухам, сам сидел, а капитан Дощинин, на него очень похожий, сажал других. Тем более сейчас, когда их военно-строительный отряд в результате вышестоящего недомыслия стал официальной перевалочной базой в дисбат или лагерь. Костя впал в тоску: ладно был бы салабон, по первому году, не грех и в дерьме поковыряться, но ведь дед, дембель на носу, да и товарищи по оружию что скажут? «За падло́» скажут, ничего другого не скажут.

Костя поделился сомнением с Богданом.

Женька пожал плечищами:

— Тебе-то что? Чеши грудь и ковыряй дерьмо! А вякнет кто... Никто не вякнет.

Костя перевел дух и сказал Дощинину: согласен.

В помощники Косте Женька выделил Фишу и Нуцо Влада.

Фиша — человек старательный и не брезгливый, потому что из деревни. Сам он до армии плотничал, отец его был чуть не конюхом, и вообще Фиша рассказывал, что там, в Карпатах, полно их, деревенских евреев.

В армии Фиша как скаженный вцепился в учебники, в поселковой вечерней школе за год окончил два последних класса, аттестат у него уже был на руках, а он все долбит и долбит уроки, как ворона мерзлый хрен. Питая к Фише особую симпатию за прилежность, подполковник Быков выписал ему маршрутный лист в местный филиал областного политехнического института на подготовительные курсы, куда Фиша и выбывал два раза в неделю на зависть всему стройбату.

Фиша трудился на комбинате, вязал арматуру, в роте проку от него было мало, чуть отвернись — учебник из-за пазухи тянет, вот Богдан и сбыл его Косте в помощники. И Нуцо Влада сбыл, тоже проку мало — цыган. Впрочем, Нуцо уверял, что он не совсем цыган,

а частично молдаван. Вернее, в основном молдаван, а частично цыган. Не поймешь, короче.

А начальник штаба майор Лысодор, чтоб подбодрить золотарей, от себя пообещал Косте и Фише досрочный дембель, как закончат, а первогодку Нуцо — отпуск на десять дней.

Таким образом, у Женьки в отделении за вычетом троих — Кости, Фиши и Нуцо — осталось пять пахарей. Миша Попов из Ферганы — грузчик на мясозаводе. Одессит Коля Белошицкий, Эдик Штайц, немец из Алма-Аты, доски режет на пилораме. Как он еще себя не распилил, непонятно. Про Эдика говорят, что он в конопле и родился, в анаше то есть, вестибулярный аппарат не работает. Команда «направо», а его налево несет; «кругом» — на пол-оборота больше заворачивает. А так парень ничего, спокойный такой, блондинистый. Проще говоря, никакой. Ну, и пахарь никакой, сообразно. Какая там пилорама! За таблетками на край света готов пешком бежать. За эти побежки Дощинин на него тоже дознание крутит. На малой скорости, больше для острастки, но крутит.

И двое молодых у Женьки в отделении: Егорка и Максимка. Егорка и Максимка — это по местному времени, а по паспорту: Рзаев Мамед Гасан-оглы и Шота Иванович Шалошвили. На ЖБИ работают, раствор бетонный льют.

Вот и все Женькино отделение. Второе отделение первого взвода четвертой роты N-ского военно-строительного отряда. А Женька Богданов — ефрейтор.

Сперва Женька решил Егорку с Максимкой Косте подарить, да потом одумался — всего-то пахарей у него эти двое. Он их нарочно в свое отделение взял, пока другие не разобрали. Егорка кроме основной работы Женьку с Мишей Поповым обслуживает: койку заправить, пайку принести из столовой, постирать по мелочи; а Максимка — Колю, Эдика и Старого.

Да, еще Старый у Женьки в отделении — шестеро их, значит. О Старом как-то все забывают — не видно, не слышно всю дорогу. Работает Старый на автобазе слесарем, в канаве все время торчит, а в роту приедет — в уголке сидит, курит. Ни выпить, ни в самоволку. Боится, что Дощинин снова в дисбат упрячет. Старый действительно очень старый. Призвали его за неделю до дня рождения — двадцать семь должно было стукнуть. Только-только из зоны вылез. За убийство. И главное, почти весь срок отсидел, а уж к концу разобрались, что не убивал он, а защищался. То есть убил, но при необходимой обороне. Дали десятку, выпустили на два года раньше. А тут хоп — и в стройбат! Не отдохнув толком от сиделовки, Старый завел было жизнь на вольный манер и скоро убыл в дисбат на максимальных два года. Какой он был раньше, неизвестно — сажали его не в этой части,— но сейчас ходил тихий, весь лысый почти, морщинистый, руки в окостенелых мозолях. Про дисбат — ни слова. Спит даже с открытыми глазами. Влезет на койку, подгребет под себя подушку и лежит, вперед смотрит, а на самом деле спит. А тут еще как-то по обкурке повело Старого на подвиги, и срезал он с какой-то пьяной руки «Победу» вшивую. Женька отнял его у ребят изметеленного почти до основания. Главное, вором-то сроду не был. Сам на себя удивлялся: чего это ему вдруг взбрело — часы срезать? Тем более свои есть. «Командирские», светящиеся.

Егорку Женька обротал сразу, тот почти и не рыпался. Пару раз ему кровь пустил слегка, чучмеки почему-то крови своей боятся. А с Шотой, тьфу, с Максимкой, повозился подольше — грузин в соседнюю роту бегал за земляками. Те сразу явились, а как увидали, что Шота Иванович их на Богдана настропаляет, от себя еще Шоте бабаху подвесили. Если бы Шота больше был похож на грузина, они б его в обиду не дали. А он ни то ни се: белобрысый, шершавый, грязный. А так-то гру-

зины — не больно их обротаешь! С усами все. Им на усы специальное разрешение от министра обороны. Чистюли: только и знают мыться да бриться. Бреются, правда, насухую: хруст стоит и на глазах слезы. Воды-то горячей где взять? Негде.

Костя катил перед собой пустую тачку. Тачка скрипела на весь поселок. С губы доносились песни.

Сам Костя на здешней губе не бывал, бог миловал. Зато остальные из роты почти все побывали. Не дай бог, рассказывают. Костя даже зажмурился от мысли, что может оказаться на э т о й губе, не очень даже и заметной: если б не вышка, не проволока — домик и домик. Да, домик... почки отобьют для смеха — и будь здоров, жуй пилюли. Вон у Нуцо до сих пор моча розовая. И смеется, дурак, не понимает, что, может, калека на всю жизнь. Может, еще рак разовьется. Фиша его чуть не насильно таблетками кормит. Жалеет, хоть сам на губе и не был.

Да ладно, только б лупили губари, а то совсем оборзели — «расстрел» организовали. К стенке поставят и давай... Нуцо как раз под этот знаменитый «расстрел» и попал. Вырубился, конечно. С непривычки.

Костя как-то намекнул цыгану, чтобы, мол, написал в Москву, в Министерство обороны. Или в прокуратуру. А Нуцо только ржет, как всегда. Костя и сам бы написал, да боится, найдут по почерку. Написал уже один раз, вон Чупахин его сюда и сплавил. Нет управы на губарей, законной — нет.

А без закона — можно найти.

Их ведь, губарей, тайком дембеляют, ночью в основном и заранее, до приказа. Ну а в штабе дивизии тоже свои есть. Писаря. Сейчас там, например, Дима Мильман. Это он осенью предупредил, когда губарям по домам разбегаться. И пожалуйста: одного с поезда

скинули, другого отловили, и поехал он не домой, а в больницу в полуженском обличье: пол ему размолотили. Потом, говорят, и отрезали. А ведь честно предупреждали: что ж ты, козел, творишь! Земляков своих и то... Одного пацана метелил, соседа, на электрогитарах вместе играли раньше, до армии, в клубе. Из одной деревни оба.

...Губарь помахал Косте. Костя тоже помахал неопределенно, хоть и не разобрал кому.

Внутри, во дворе губы, маршировали с утра пораньше арестанты, расхристанные, без ремней. Конвойный с автоматом погнал за ворота двоих с термосами на палке.

— Привет,— кивнул Костя.— К нам? За рубоном?

— Ну,— буркнул губарь.

Костя поежился. Сколько раз давал себе зарок не контачить с суками, а вот не получалось...

Трамвай, с визгом и скрежетом разворачивавшийся на конечном круге, заслонил процессию и приглушил позорный скрип Костиной тачки. И даже вонь от тачки вроде стала поменьше.

По ту сторону ворот москвич Валерка Бурмистров — хозяин КПП — тягал двухпудовую гирю.

Валерка пожал руку конвоира и заметил Костю:

— Здорово, земеля!

Костя затормозил тачку метрах в десяти от КПП, чтоб не так воняло, пошел к воротам. Дерьмо, подтаявшее от разгоряченных ходьбой сапог, пятнало снег темными следами. Костя остановился в нескольких шагах от Бурмистрова, переживая свой запах, несильный — с глубины уже брали, перебродило,— но фекал есть фекал, никуда не денешься. Потыкал сапогами в грязный осевший сугроб.

— Привет.

— Слышь, зёма,— с натугой сказал Валерка, выжимая гирю.— Вас это... лупить намеряются... Ха-ха... Лечить будут... под дембель.

Костя кисло улыбнулся.

— Чего ты лыбишься? — засмеялся Валерка, не прекращая тягать гирю.— В натуре. Чинить хотят.

— Кто? — сорвавшимся голосом выдавил Костя, вспоминая почему-то губу.

Валерка оставил гирю в покое, вытер пот с жирного бабьего подбородка, пожал плечами:

— Как кто? Блатные. Вторая рота.

— Кого — вас?

— Как кого?.. Всех. Всю вашу роту. Живете больно красиво. А может, и не будут. Меня не щекотит... Слышь, земеля, у вас в роте тоже колотун? Не топят, что ли? Кочегару пойти рожу настучать?..

Валерка молол что-то про кочегара-салабона, про завтрашнее партсобрание, на котором его должны были переводить из кандидатов... Костя уже не слушал. На одеревеневших ногах дошел он до своей тачки и тупо покатил ее сквозь ворота по бетонке.

На плацу шел утренний развод. Приближалась зарплата, и Быков орал, как делал это каждый раз перед деньгами, чтоб не нажирались, а если и нажрутся, чтоб не бросали друг друга. А если уж бросят пьяного, то чтоб на живот переворачивали, чтоб блевотиной не захлебнулся...

Костя не стал слушать известные уже слова, он катил тачку к последнему недоработанному туалету. А может, ничего? Мало ли что Валерка треплет! Идиот жирный!..

Нуцо выкидывал на поверхность уже не вонючую чернь, а обыкновенный восточно-сибирский грунт второй категории, то есть песок, лишь кое-где в нем предатель-

ски чернели вкрапления прошлогоднего перегноя. Фиша выбирал из раскиданных вокруг обрезных досок какие поровнее — для пола.

Костя подвез тачку ближе к яме и стал загружать.

— Молодой! — хохотнул снизу Нуцо.— Скажи что-нибудь.

— Молчи, салага,— пошутил Костя.— До обеда побуду, потом отвалю.

— Куда? Уши резать?

— Паши давай!..

— Костя,— укоризненно сказал Фиша,— надо больше работать, а ты все куда-то убегаешь. Надо уборную доделать. Мы же в воскресенье домой уезжать хотим. Давай хоть пол начнем, потом отвалишь.

Насчет ушей Костя действительно ездил в область, в косметическую поликлинику. Со школы не давали ему покоя эти уши, торчали, заразы, под прямым углом в стороны. Кончил десятилетку, волосы отрастил — вроде ничего, а в армии опять проблема.

В поликлинике сказали, что уши исправить можно, но надо полежать три дня в больнице, а потом еще каждый день ездить на перевязку. Короче, уши Костя решил оставить до Москвы.

Из динамика грянул марш. Стройбат, отпущенный с развода, разбредался с плаца по рабочим точкам.

Вторую роту — осенний призыв, набранный целиком из лагерей,— увозили в грузовиках на комбинат. Блатные работали пока на земле. Приживутся, оборзеют, тоже найдут непыльную работенку. Стройбату без разницы, где воин пашет, лишь бы доход в часть волок. Вон двое из первой роты на трамвай сели — инженерами на комбинате работают.

Марш окончился, стало тихо и пусто. Теперь Коля Белошицкий запустит битлов. Потом пойдет «Роллинг стоунз». Эту кассету Костя знал наизусть — позавчера взял ее с переписки у парней в городской студии звуко-

записи. Сделали, как-никак коллеги: Костя в Москве на улице Горького звукооператором работал.

Мать мечтала, чтоб он стал музыкантом. Отчаявшись отыскать у сына абсолютный слух, купила скрипку и часами заставляла его пиликать на ней под присмотром пожилой музыкальной маразматички с первого этажа. Костя пиликал, пиликал и допиликался: от долгого стояния стала слетать коленная чашечка. Тогда мать разнесла по дому, что Костя переиграл ногу, как пианисты переигрывают руку. Наконец музыкальная маразматичка умерла, но поскольку мысль о Костиной музыкальности по-прежнему не давала матери покоя, она определила его после школы в студию звукозаписи. А чашечка коленная через год определила Костю в стройбат.

Повспоминал Костя родной дом и в который раз с тоской убедился, что не тянет его домой. А куда тянет, и сам не знал. Никуда. Если только на студию. Веселая жизнь! Попивай потихоньку да клиентов пощипывай. А вечерами что делать?..

Фиша положил первую доску и приживил ее гвоздями.

— А ты иди покушай,— прервал Костины раздумья Нуцо.— Селедки принеси. С черняшкой!

Жрать хотелось страшно: завтракали-то в пять утра, а сейчас одиннадцать. Но пошел Костя не в столовую, а в баню — в загаженном состоянии есть он бы не смог. А Фишке и Нуцо хоть бы что. Сзади к столовой подойдут, пожрут в биндейке на скорую руку и опять вкалывать.

Костя еще и потому шел в баню, что твердо решил не пахать больше сегодня. Сегодня они с Женькой поедут в третий микрорайон, в общежитие четвертого НПЗ, навещать Таню-вонючую. Вообще-то никакая она не вонючая, просто моется хозяйственным мылом, а Косте

это простое мыло... Ну, не переносит. А так она баба красивая.

— Открой! — Костя уверенно постучал пальцем в окошко обувной мастерской, помещавшейся в одном полубараке с баней.

Сапожник, он же зав баней, открыл дверь, впустил Костю и снова закрыл: мало ли кто еще припрется.

Костя мылся, как стал золотарем, каждый день. По личному распоряжению Лысодора. Невелика радость, а все-таки. Фишка с Нуцо под это дело — под вонь — в свинарник спать переместились. Свиньи-то свиньи, зато покоя больше.

Костя помылся, установил на подоконнике карманное зеркальце, внимательно поглядел на себя, приподнялся на цыпочках — посмотреть, каков он в нижней части. Ничего. Поджарый, длинноногий, ни тебе шерсти особой, ни прыщей... Нормальный ход. Еще бы уши...

Он уже заканчивал бритье, когда вдруг сообразил, что дембельское его пэша с лавсаном и сапоги дембельские, яловые, в каптерке.

Костя с треском отодрал оконную створку, потом вторую, наружную, замазанную белилами, и высунулся в холод: может, кто из своих рядом? Везуха! — возле клуба на перекладине корячился Бабай.

— Бабай! Кил мында! — заорал Костя и свистнул, чтоб тот лучше услышал.

Бабай услышал, свалился с турника, покрутил башкой, соображая, откуда крик, и наддал к бане.

Бабай чудом оказался в армии — скрыл, что у него ночное недержание. Взяли в конвойные войска, куда весь Восток берут, но сразу же выкинули, как унюхали. В госпитале Бабай взмолился, чтоб не комиссовали — дома засмеют: не мужик. Так Бабай и оказался в стройбате. Не здесь, в нормальном. А в прошлом году, как очищали стройбаты, вытурили его. В Город, куда всю шваль скучивали.

Теперь Бабай целыми ночами сидел возле тумбочки под переходящим знаменем и пустым огнетушителем. На тумбочке под треснувшим стеклом лежала шпаргалка, что он обязан докладывать при посещении роты офицерами. Днем Бабай немного спал, а остальное время старался накачать силу. На турнике он докручивался до крови из носа и тогда ложился на спину в песок, а сейчас, весной,— на лавку рядом с турником.

— Чего тебе? — с готовностью затарахтел Бабай, грязными ручонками подтягиваясь к высокому подоконнику.

— Принеси из каптерки пэша, сапоги, носки и плавки. В чемодане моем. У Толика спросишь. Повтори. Что такое пэша?

Бабай задумался, но повторил правильно:

— Полушерстяное.

Не успел Бабай умчаться, мимо бани процокала полненькими кривыми ножками Люсенька. Люсенька не скрывала, что пошла работать в армию в поисках жениха. У нее уже был один — из позапрошлого дембеля, и от него даже остался у Люсеньки сынок. Жених уехал в Дагестан, а Люсенька по-прежнему работала в библиотеке. Быков хотел было погнать ее за блуд с личным составом, а потом сжалился. Быков вообще мужик клевый. Всех жалеет. И солдатье и вот Люсеньку. И Бабая. А здоровенный — штангу тягает! По воскресеньям его ребята на реке видят с этюдником, рисует чего-то. На войне был, потому и мужик классный. Все офицера́, кто воевал, нормальные мужики, незалупистые.

С Люсенькой в настоящее время занимался Женька Богданов, собирался, вернее обещал, жениться. Это было на руку Косте: Люсенька всегда держала для него «Неделю», «За рубежом» и журнал «Радио». Более того, на дембель обещала списать для Кости все журналы «Радио» за последние десять лет.

Бабай обернулся мигом.

— Ничего не забыл? — спросил Костя, принимая амуницию. Строго спросил, но Бабай не только ничего не забыл, но и притащил Костину шапку, меховую, офицерскую — для увольнительных,— и дембельский ненадеванный бушлат.

— Костя, Костя! — залопотал Бабай.— Деньги сегодня дадут, сегодня дадут! Зарплату. Не ходи к бабам, завтра иди к бабам!.. Ты уйдешь — мне деньги отберут старики. Я тебе отдам, ладно? Тебе отдам, ты мне потом тоже отдашь. Ладно, хорошо, ладно?

— Ладно! — кивнул Костя и закрыл окно.

Бабай, как постоянный дневальный, получал шестьдесят рублей. После вычета харчей, обмундировки и так далее на руки ему выдавалось пятнадцать, еще пятнадцать ложились на лицевой счет. Год назад Бабай упросил Костю отбирать у него получку — тогда другие старики не будут зариться. Костя согласился. Не за так, конечно,— троячок ему Бабай отстегивал из каждой зарплаты.

Костя довел себя до кондиции. Причесался, максимально напустив волосы на уши, надушился любимыми своими духами «Быть может», польскими, с полынным запахом. Спасибо, мать посылает. Надо, кстати, написать ей, с тоской подумал Костя. Нудит: в институт, в институт... Какой тут институт... Костя достал из нагрудного кармана крохотную щеточку для сапог, завернутую в лоскут бархата, отрезанный от клубной гардины, навел глянец на сапоги, изнутри кулаком оправил меховую шапку с недовытравленным на засаленном донце именем бывшего владельца, и легкой журавлиной походкой, благоухая, вышел из бани.

Карманы его дембельской гимнастерки слегка оттопыривались.

В карманах у Кости находились конверты, шариковая ручка, бумага для писем и маленький, но толстенький дневничок в клеенчатой обложке, куда Костя запи-

сывал события дней и по обкурке — стихи. Были там еще арабская зубная паста «Колинос», которую Костя применял специально для свиданий, упомянутые уже щетка для сапог, духи, а также зубная гэдээровская щетка. Упаси бог, в роте увидят — тот же Коля Белошицкий заныкает, и выявится его щеточка в виде наборного браслета для часов. Коля может даже и сознаться в пьяном виде. Понурит голову, отягощенную большим переломанным носом. «Ну, прости,— скажет и разведет в стороны свои длинные жилистые руки.— Спер. А браслетик по люксу вышел. Хочешь, возьми. Простишь?» Ну кто ж после таких слов не потечет? Потому-то Колю никто в жизни и пальцем не тронул — рука не подымалась. А что нос перебит, так это еще до армии, на зоне, по недоразумению и в темноте.

2

— Слышь, земеля! — Валерка Бурмистров орал прямо с крыльца КПП.— Ну, ты, в натуре, вчера хорош был, я те дам!..

Костя остановился перевести дух, вытер рукавом липкий похмельный пот, скривил улыбку:

— Да-а?..

— Будь здоров! — Валерка заржал.— Тебя мой молодой на себе до роты пер... Дрозд!

На крыльцо выскочил здоровенный стриженный налысо молодой.

— Вот этот,— сказал Валерка.

— Ага.— Костя кивнул, благодаря не молодого, а Валерку, поскольку молодыми распоряжался он.— Ничего такого, Валер?.. А?

— Нормальный ход. Тебя Рехт, дружок твой, заловил, хотел на губу. Еле отбил... Москвичей не любит, только так!

— Спасибо, Валер...— пробормотал Костя, берясь за тачку.

— Земель! Погоди...

Молодой с интересом наблюдал за ними.

— Кыш! — прошипел Валерка, и молодой исчез.— Вчера обстриг их налысо, обросли, как деды. Тебя как зовут, забываю?

— Константин,— как можно спокойнее ответил Костя.

— Слышь, земеля, трояк не займешь? Молодым осетрины прислали с Оби. Я считаю, им вредно. А?

— Вредно,— небрежно, по-дедовски кивнул Костя.

— Короче, трояк займи, рассыпухи берем, и вечерком приходи. Телек позырим. «Братья Карамазовы».

Костя с трудом понимал Валерку. Деньги нужны. Денег нет.

— Денег-то, Валер...

— Ну, здрасте, приехали! — Валерка хлопнул себя руками по ляжкам.— Как буха́ть — есть, как землю выручить — от винта! Хреновый ты земеля! Я таких в гробу видал!..

Надо бы объяснить, что денег у него с тех пор, как залетел с кренделями глазированными, вообще нет, только Бабаев трояк, который он вчера тоже упустил, потому что деньги у Бабая отобрали другие, пока они с Богданом киряли у Тани-вонючей.

Но как сказать, если язык чуть шевелится, обожженный вчерашним слабо разведенным спиртом? Найдет. Найдет он Валерке трояк. Не ясно где, но найдет. И больше достанет: сколько скажет Валерка, столько он ему и достанет. Потому что даже подумать страшно, как бы он мог служить без земляка на КПП. Вон вчера Валеркин молодой на себе его волок, а ведь всех бухих Валерка сперва сам отоваривает на КПП, а потом сдает на губу.

— Подожди-ка...— Костя потер рукавицей лоб.— Ты здесь будешь?

— А куда я, на хрен, денусь? — обиженно пожал плечами Валерка.

Костя, с трудом соображая, где взять денег, покатил тачку прочь. Другие-то старики с Валеркой вообще не здороваются, за падло считают. Им что, Валерка их сам побаивается. У Миши Попова в Городе серьезные друзья по наркоте, с ним все учтивы. У Женьки через комендатуру все зашоколадено. А у него, у Кости?.. Нету у него отмазки! Конечно, когда он с Мишей или с Богданом, никто не залупнется. А когда один?..

«О чем, козел, думаю? — усмехнулся про себя Костя.— Какая отмазка, зачем отмазка?! Послезавтра в Москве гудеть буду!»

— Слышь, земеля! Тогда уж пятерик бери для ровного счета,— по инерции обиженно крикнул Валерка.— Слышь?

— Слышу,— отозвался Костя.

Фиша выпиливал очко. Вернее, пол-очка в одной доске, пол — в другой.

— Фиш, дай трояк до получки, в смысле пятерку,— нахраписто заявил Костя.

Фиша не спешил давать деньги, и Костя понял: атака с ходу не удалась. Сейчас Фиша начнет нудить. Костя сел на доски и полез за сигаретами.

Фиша не нудил. Фиша аккуратно выпиливал полукруг в доске по красной карандашной линии. Перед шмыгающими вверх-вниз зубьями пилы на линии нарастал холмик опилок.

«Сейчас с чиры съедет!..»

Костя, не поднимаясь с досок, изо всей силы дунул на Фишину работу. Фиша дернул головой вверх и стал остервенело тереть запорошенные опилками глаза.

— Извини,— виновато сказал Костя.

Пилил Фиша точно по линии. Он молча взглянул на Костю, как на убогого, ерзнул пилой еще пару раз и, аккуратно придерживая снизу, принял выпавшее полукружье.

— Дай трояк, — сбавил Костя.

— Получка, Костя, была вчера,— сказал Фиша.— У тебя получки вчера не было. И тебя не было. Ты вино пил. С Богданом.

— Ну и что теперь? — устало сказал Костя.— Застрелиться?

— Не пей вина...

— Гертруда,— усмехнулся Костя,— дай денег, чего ты жмешься?

— А ты помнишь, сколько мне должен? — склонив голову на плечо, со справедливой укоризной спросил Фиша. Точно так вот Костю допекала дома мать.

— Много, Фиша, много,— закивал Костя.— Всё отдам. Всё. Бабки огребем в субботу...

— Я тебе дам еще раз денег, если ты мне пообещаешь, что ты берешь у меня деньги не на вино. Разве ты не понимаешь! — Фиша возвысил свой обычный монотонный голос и соответственно воздел руки к небесам.— Ты можешь стать горчайшим пяницей! Как все! Как Нуцо!

— Чего? — Из ямы показалась улыбающаяся небритая морда цыгана.— Оставь курнуть!

Костя протянул ему бычок.

— Фишка денег не дает.

Нуцо, обжигая пальцы, досасывал окурок.

— Дай Косте денег. И мне дай.

— Тебе — таблетку! — отрезал Фиша, и Костя понял, что ему Фиша денег даст.

— А чего вы, собственно, не пашете? — нахмурился Костя. Надо было добавить что-нибудь поосновательнее,

и Костя выпалил не совсем свое, но в настоящий момент подходящее: — Приборзели?!

— Лопатой больше не берет,— сказал Нуцо.— Клин нужен. И кувалдóметр.

— Что ж вы, гады, сразу не сказали? — Костя даже застонал. Переться теперь в кузницу, клянчить клин, кувалду... От одной мысли мозги скручивались. Костя страдальчески поморщился, поднял глаза на Фишу.— Пятерку дашь?

— Дам,— торжественно объявил Фиша.— Иди за клином.

Костя тяжело поднялся с досок.

— Пойдем,— сказал он Нуцо.— Сам все попрешь. Я — дед. Понял?

Когда вернулись с инструментами, Фиша читал книгу.

— На,— строго сказал Костя. Нуцо синхронно его словам скинул с плеча на землю клин на приваренной арматурине и кувалду.— Пашите, гады... Фиш, ну?..— Костя протянул руку.

— Ты мне подиктуешь сегодня? — с ударением на последнем слове спросил Фиша, не спеша расстегивая пуговицу на коленном кармане.

Костя молча следил за второй пуговицей, которая оставалась нетронутой.

— Часочек,— уточнил Фиша и протянул Нуцо завернутую в бумажку таблетку.

— Нуцо! — чуть не плача простонал Костя.— Он смерти моей жаждет. Меня блевать волокет, а он — «подиктуй»!..

— Дай Косте денег,— вступился Нуцо.— Дай!

— Хорошо,— сказал Фиша.— Вот мы позанимаемся, потом я тебе дам денег.

— Слушай меня, Фишель,— сказал Костя, дыша в лицо Ицковичу перегаром, который Богдан называл пе-

регноем.— Учти, Ицкович, вас, всю вашу масть, вот именно за это в народе не любят. Вот таким своим... некорректным поведением ты возбуждаешь в нашем народе антисемитизм. Я правильно говорю, Нуцо?

— Точняк, сто процентов,— не поняв ни черта, кивнул Нуцо и на всякий случай хмыкнул.

Фишель Ицкович, огромный, очень красивый, медлительный, еще некоторое время собирался с мыслями. Наконец он тяжело вздохнул и расстегнул вторую пуговицу на кармане. Костя перевел дух, стараясь дышать потише, чтобы не спугнуть Фишино решение.

Фиша достал потертый бабий кошелек и долго выуживал из него пять рублей жеваными бумажками.

— А теперь, Фиша, могу тебе сказать: подиктую. Иди в техкласс, я сейчас приду.

Улыбка расплылась по Фишиному лицу. Он завалил инструмент досками, накинул телогрейку и потопал через плац к стоявшему на отшибе голубому бараку — техклассу.

— Дуй на КПП,— скомандовал Костя Нуцо.— Деньги — Валерке.

Веселый, жизнерадостный Нуцо помчался по бетонке к воротам, унося с собой легкую неотступную вонь.

Костя пошел учить Фишу.

— «...Лев Силыч Чебукевич, нося девственный чин коллежского регистратора...— медленно диктовал Костя, прохаживаясь перед Фишей, втиснутым в переднюю парту,— вовсе не думал сделаться когда-нибудь порядочным человеком...»

Фиша писал, низко опустив голову к тетради. Над курчавыми его волосами шевелился, не уплывая, легкий дымок, потому что в зубах у Фиши торчала папироса. С куревом у него были странные отношения. Вообще Фиша считал курение недопустимым, хотя и не в такой

степени, как вино и женщин, но во время особо сильных переживаний разрешал себе закурить. Занятия русским языком требовали от него большого напряжения, и смолил он сейчас без перерыва — папироска так и ерзала из одного угла рта в другой. Курил Фиша самые дешевые папиросы «Север».

На стене техкласса висел двигатель внутреннего сгорания с обнаженными разноцветными внутренностями. За окном на плацу, пригретом весенним полуденным солнышком, в подтаявшей лужице дрались воробьи. «А ведь дембель-то вот он»,— подумал Костя и, сладко потянувшись, открыл рот зевнуть.

— Евре-ей? — вдруг спросил Фиша.

— Чего? — недозевнув, щелкнул зубами Костя.

Фиша строго смотрел на него своими подслеповатыми припухлыми глазами в пушистых ресницах.

— Он — евре-е-ей?

— Кто? — Костя наморщился и заглянул в учебник, отыскивая сомнительное место.— Лев Силыч?.. Ты что, Ицкович, спятил? — Костя взглянул на обложку сборника.— И где ты ахинею такую выискиваешь?.. Это ж для филфаков!

Фиша пожал плечами, вытащил окурок изо рта, напустил в него слюны и кинул в закрытую форточку. Окурок отскочил от стекла и шлепнулся на раскрытую тетрадь, цыкнув на текст желтоватой слюной.

— Очки надо носить. Глаза посадишь.

— Разбил.

— А новые заказать — трешку жалко? Ладно, поехали. «...Во дни получения он хаживал в кухмистерскую, где за полтину медью обедал не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом».

— Ты не забыл, что ты должен мне пятьдесят восемь рублей? — не поднимая головы от писанины, тихо напомнил Фиша.

Костя шваркнул сборник диктантов об стол, как разгневанная учительница.

— Еще раз о деньгах — и все!

— Почему ты так волнуешься? Ты не волнуйся. Ты диктуй мне помедленнее. «...не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом».

— «...После такого обеда,— хмуро продолжил Костя,— ему снились суп со свининой...»

— Не так быстро! — взмолился Фиша.

— Ладно, — буркнул Костя.— Проверяй ошибки.

Он захлопнул сборник и подошел к окну. Стройбат был пустой. Почерневшие сугробы вокруг плаца даже на вид были шершавыми.

Солнце заваливалось за штабной барак, дело к обеду. А после обеда и покемарить можно, ни одна собака не пристанет. Это тебе не у подполковника Чупахина на Урале. Тот уже с семи утра мучил. Ночь еще, можно сказать, минус сорок,— а он их на разводе по часу держал. Наставлял, как нужно трудиться. И уши у шапок опускать не разрешал. Правда, и сам, гад, стоял мерз. Потом оркестр вылазил, и под музыку — на работу. «С места с песней». А до работы три километра.

А ту-ут?.. За полтора года — одна тревога. И ту Лысодор сдуру учудил. Прикатил на своем «Запорожце» ночью: «Тревога!» Ну, побежали. До губы добежали и обратно, а Лысодор уже укатил досыпать. Такая вот армия. Спесифическая, как Райкин скажет. А политзанятия?.. Тут у руководства одна политика: не перепились бы в зарплату, не передрались бы, не подохли...

Раз, проходя мимо, Костя услышал, как старшина их роты Мороз да Лысодор — дружки закадычные — горевали, закрывшись в каптерке, выпивали потихоньку. «Какая ж это умная голова придумала,— сокрушался Лысодор,— создать в Городе неуправляемую часть. Больше тыщи головорезов! В Городе! Посреди баб, детишек... При Сталине бы...»

А кто их слушать будет? Один майор, другой старшина. Не сообразили после войны, куда податься, вот и застряли в стойбате. Сиди теперь в каптерке да начальство втихаря поругивай...

После обеда Костя сразу заснул и очнулся только к вечеру совершенно трезвым. Помотал головой: не кружится. Не подташнивает, пакость во рту исчезла. Ожил.

Костя засел в бытовку и начал сосредоточенно загонять в погон гимнастерки фторопластовую пластину, чтоб плечи не обвисали. Чего другого, а фторопласта в Городе навалом — нефтекомбинат под боком. Крупнейший в Европе. Все в этом Городе через наоборот. И нефтекомбинат — чистый яд — чуть не в центр Города воткнули. Ветерок подует, да и ветерка не надо, и при хорошей погоде до Четвертого поселка достает. И дети рахитами рождаются, гражданские сами говорят. Как эта пьеса-то называлась? Про комсомольцев... «Иркутская история»? «Город на заре»?.. Чего-то в этом роде. Город, кстати, не комсомолисты строили, а зеки — обыкновенные, нормальные зеки.

Костя тыкал белую маслянистую ленту в погон, лента не лезла. До половины дошла и уперлась. Костя легонько резанул по напрягшимся швам перочинным ножичком. Ножичек у Кости особый, выпрыгивающий, в брюшину кому засадить — ништяк, наверное... Коля Белошицкий подарил на рождение.

Коля Белошицкий до посадки шофером работал в городском парке. Раз в день приехал, листья нагрузил — и на свалку. А машина без дела не стояла, работала. Вот и заработал Коля на ней пять лет. Но Коля себе цену знал и приговора не испугался: уверен был, что выйдет «по половинке». Рассказывал, у него и в лагере полная свобода была. Ни подъема, ни отбоя. И приехал в зону пересуд. И надо же, узнала Колю баба-судья, та,

что его в Одессе судила. Припомнила ему, как он, под следствием, в тюрьме брагу в огнетушителях изготовлял. Так и отсидел Коля пять лет. От звонка до звонка. Правда, после этого на государство уже ни дня не работал. И здесь, в армии,— тьфу, в стройбате,— не работает. Числится киномехаником, а так и не найдешь: то в роте ночует, то в кинобудке, то в поселке у бабы... Кино за него молодой крутит. На вечерних поверках Колю уже и выкликать перестали.

...Со стен бытовки круглоглазые, стриженные под довоенный полубокс солдатики учили Костю шить, штопать, латать и гладить обмундирование, показывали, как надо оборачивать на ночь сапог портянкой для просушки последней. Раньше Костя недоумевал: зачем белую портянку на голенище наматывать, оно же в гуталине? Ан нет, прав был довоенный солдатик: начищенный сапог не марался. А вот мазь в жестяной посудине перед их ротой маралась. Поначалу жаловались на нее Буряту (он мазью заведовал): мол, и не мажется, к сапогу шмотками цепляется, и щетка в колтун. А Бурят свое талдычил: «Мазя утвержден в моськовский институт». И все дела.

А как сам Бурят, младший лейтенант Шамшиев, оказался в армии — одному богу известно. Приперся он сюда с женой, перекошенной какой-то, с четырьмя детьми мал мала меньше. За неимением другой жилплощади Быков поселил его в санчасти. Перед санчастью теперь на веревках все семейство сушится: лифчики голубые, трусы Бурята, детское... Хорошо хоть старших двоих на пятидневку взяли, при нем только грудной да еще рахит лет двух. В дни получки Бурят старался носу из санчасти не высовывать: пришибут ненароком по бухоте. Быков и Лысодор его ни в копейку не ставят — уж больно не любят недоделанных. Такой этот Шамшиев поганенький, гимнастерка не ушита, на морде прыщи, шта-

ны на заднице провисают, каблуки скособочены, не офицер — недоразумение.

Короче, у всех стариков в роте свой гуталин. А молодым, как Нуцо, или таким дедам, как Фиша, им красота без надобности. Фише бы только учиться, а Нуцо — песни петь. Он их и пел всю дорогу, пока его на губе не «расстреляли». Теперь редко поет. А вот кто его персонально стрелял, не рассказывает. Заклинило цыгана. Только Фише сказал. А мог бы и Косте сказать, Костя не из трепливых, даже по обкурке. Контролирует себя. За это мужики и уважают.

За дверью загалдели. Значит, народ с работы возвращается. Сейчас погалдят — и в клуб, на суд... Костя закончил второй погон и надел готовую гимнастерку. Выходить на народ не хотелось. Его и на гражданке не особо на люди тянуло — лучше книжечку почитать, музыку послушать. Кстати, насчет музыки — не потерял ли схему высокочастотного генератора для подогрева резца? Коллеги из местной студии презентовали.

Костя пошарил в карманах. Где же она? Вот. Он достал из кармана конверт. Нет, не то. Письмо какое-то. От Таньки?..

Костя с отвращением взглянул на конверт и вспомнил: когда он спал, молодой с КПП принес письмо — Танька привезла. Посомневался: может, выкинуть?.. Вскрыл конверт.

«Здравствуйте, Константин! Костя, ну куда ты меня вчера послал? Пришел уже поддатый, Евгения с собой зачем-то притащил. Я вас приняла по-хорошему. Я ж не виновата, что Женя ко мне на кухню пришел, когда я котлеты жарила. А в прошлый раз ты меня к нерусскому приревновал, к болгарину, который в общежитие пельмени принес для реализации...»

— К цыгану, дура,— проворчал Костя, кинув разорванное письмо в корзину. Нуцо раньше в холодильнике работал — грузчиком.

— Строиться! — раздался за дверью голос командира первого взвода Артура Брестеля. Когда начальства в роте не было, он был за старшего.— Командиры взводов — в канцелярию! — орал Брестель, подражая капитану Дощинину.

Только когда Дощинин вызывал взводных в канцелярию, он им чего-нибудь да говорил там, а Артур Брестель орал так, для порядка. Брестель не только говорить не умел, он и понимал-то по-русски плохо. Не потому, что эстонец, а потому, что тупой. Год назад вместе с Костей копал землю на комбинате. Норму никто не выполнял, и гонял их Дощинин вечерами с песнями по плацу до отбоя. А после отбоя без песен гонял. Брестель был как все: норму не выполнял, водку пил, вместо работы купался. И вдруг Дощинина осенило: поставил Брестеля командиром отделения. И на следующий же день картина изменилась. Артур пахал, как пчелка, и других шугал. Попервости на него не обратили внимания. Тогда он заложил наиболее злостных паразитов.

Вечером злостные, в том числе и Костя, до ночи стучали сапогами на плацу, а потом до утра чистили картошку. Такая же картина повторилась и на следующий день. Через неделю, когда Брестель стал младшим сержантом, Женька Богданов и Миша Попов начали думать, как быть. Миша Попов пошел в первую роту и привел своего друга по наркоте Нифантьева, комсорга отряда. Вот он и возник — в плавках, слегка торченый, обкайфованный, с вафельным полотенцем, намотанным на кулак. Брестеля вызвали из роты, и прямо под окнами санчасти Нифантьев его отоварил. Брестель улетел за штакетник — жена Бурята спешно задернула занавеску.

На следующий день Брестель, заклеенный пластырем, снова заложил неработающих, а вечером снова улетел за штакетник. А на третий день Нифантьев развел руками. Слава богу, Дощинин возвысил Брестеля в

командиры взвода. Не ихнего, а первого, в другой даже половине казармы. И что интересно, отношения с Брестелем и у Женьки, и у Миши Попова, и у Кости снова наладились.

На двери клуба с утра висело объявление: «Спецсуд-40. Слушание уголовного дела о самовольном оставлении части военными строителями рядовыми Георгадзе и Соболевым. Явка всех обязательна».

Из их роты ребята. Пошли в увольнение, а поймали их через неделю в Иркутске. Машину угнали пьяные, баб каких-то раздели...

На суд Косте не хотелось идти. А не идти нельзя: подошла его очередь выступать общественным обвинителем.

У входа в клуб стоял «воронок». Привезли. Костя почувствовал неприятное дрожание в ногах. Медленно потянул на себя дверь. Клуб был набит до отказа.

Володька Соболев стоял в оркестровой яме, опираясь на декоративный плюшевый парапетик, и глядел в зал. Бритая серая голова его лениво и незаинтересованно поворачивалась, озирая клуб. Время от времени Володька слегка наклонялся вниз и что-то говорил, наверное, Амирану. Кому ж еще...

Володька сплюнул, плевок лег возле ноги конвойного, тот рявкнул. Володька харкнул еще раз, в сторону. Костя удивился: не Вовкино поведение. Волнуется, вот и расплевался для понта.

На сцену солдаты таскали столы: один — для членов суда, другой — для прокурора, третий — для адвоката.

Костя присел сбоку на конец лавки, не со своими. Брестель вертел башкой — высматривал его по рядам; Костя пригибался от его взгляда.

Из правых кулис вышла шумная группа улыбающихся людей в форменных черных мундирах.

— Встать! Суд идет! — проорал Бурят. На рукаве у Бурята была красная повязка дежурного по части.

Толстый, брюхатый прокурор засел за левый стол, пару раз привстал и наконец утвердился обстоятельно. Маленькая легонькая адвокатесса порхнула за правый стол. И за центральным столом уселись. Все свои—спецсуд-40, вот они, голубчики! А еще говорят: стройбат — армия. Какая ж это, на хрен, армия, если даже судят по-граждански.

Конвойный, стриженый губарь из молодых, ткнул Володьку, чтобы полностью развернулся к суду, а не полубоком стоял.

— Маму твою, пэтух комнатный! — громко сказал Амиран Георгадзе, заступаясь за неблатного своего подельника.

Конвойный лениво огрызнулся.

Костя пошарил глазами по рядам: Женьки, слава богу, нет. У Люсеньки, наверное, после Таньки отсыпается, не увидит, как он выступать будет.

Пока главный судья говорил свое, адвокатесса достала из сумочки косметичку, зеркальце оперла о сумочку, стала подводить губы.

Костя теребил в руках листок с текстом обвинения, которым пользовались все общественные обвинители для ориентации. Текст Дощинин напечатал на машинке.

Володьку Соболева пригнали сюда после Кости. И тоже сунули землю копать на комбинате. У Володьки тогда деньги водились — товарищи по фарцовке из Мурманска слали,— и он ни с того ни с сего стал выручать Костю, ни разу не отказал. Нравилось ему, что Костя из Москвы, звукооператором работал — центровой, короче. Или просто от широты души. Потом Костя и с Амираном познакомился. Амиран — другой коленкор. Первый кавалер Города. Костя его специально в бане разглядывал: с виду обыкновенный, усатый, как все грузины, тело обычное, не волосатое. Но как только

Амиран снял плавки, стало очевидно: репутация эта Георгадзе заслужена, что дополнительно подтверждало и слово «нахал», выколотое на самой секретной части тела.

Брюхатый прокурор попросил у суда пять лет для Амирана, судившегося повторно, и три — для Володьки.

— Карамычев! — крикнул Брестель.— Где Карамычев?!

— Не ори.— Костя встал, оправил гимнастерку.

— На сцену! — Брестель сегодня за старшего, боится, как бы оплошки не вышло.

Костя, опустив глаза, поплелся на сцену. Проходя мимо оркестровой ямы, услышал:

— Привет, Констанц! — Володькин голос.

Костя кивнул и, запнувшись на ступеньках, влез на сцену. И встал возле кулис, чтоб особо не отсвечивать.

Глядя в бумажку, он пробубнил положенное. Последнюю фразу: «Прошу строго наказать подсудимых, порочащих честь Советской Армии»,— он пробормотал так тихо, что председатель суда заставил повторить:

— Громче!

Когда Костя спускался со сцены в зал, Амиран подморгнул ему:

— Здорово, Масква! Я думал, тэбя нэт.

Хрупенькая адвокатесса проверещала, что подсудимые молоды, а матери их ждут, она просит суд о снисхождении и считает три и два достаточными сроками наказания. Личико у адвокатессы было маленькое и морщинистое. Садясь на место, она взглянула на часы и нетерпеливо забарабанила пальчиком по столу.

В последнем слове Амиран попросил себе лагерь, а Володька в последний момент решил не портить биографию и, если можно, то лучше дисбат. Дисбат не судимость. Просто продлили человеку службу. Задерживается как бы.

Амиран знал, что делал, когда лагерь просил. Хотя

сидеть теперь ему в Сибири, а не у себя в Кутаиси, как в прошлый раз, где он весь срок машины швейные налаживал в женской зоне.

В перерыве подсудимым разрешили покурить прямо здесь, в оркестровой яме. Подошли Сашка Куник, Миша Попов. Поболтали. Отошли. Володька Соболев высмотрел Костю и поманил:

— Констанц, выручи денежкой.

Костя набух краснотой, вывернул карманы.

— Нету денег. Понимаешь? Нет.

Володька усмехнулся, сплюнул не по-своему.

Амиран удивленно покачал головой:

— Эх, Масква, Масква... Нэ успел я тэбэ гáлаву разбить.

После перерыва Амирану дали три года лагеря, а Володьке, как просил, два года дисбата.

У КПП Валерка Бурмистров обнюхивал припозднившихся.

— Зажрать успел! — с радостным удивлением отметил Валерка, внюхиваясь в кружку, после того как туда дыхнул подозреваемый. Не вынимая носа из кружки, протянул Косте руку.— Кто ж так зажирает, чучело? Ванилин? Это фуфло, а не зажорка. Скажи, земель? Ты сам-то чем заедаешь?

— Ну, салол...— поежился Костя.

— Понял? — Валерка поднял указательный палец вверх.— Салол. В КПЗ! — кивнул он караульному. Тот с готовностью потянул «ванильного» за рукав.

— Валер, отпусти,— пробасил «ванильный».

— Не Валер, а товарищ старший сержант. Нажрались, суки, а зажрать толком не научились. В КПЗ.

— За «суку» отвечаешь.

— Чего? — Валерка приставил ладонь к уху, подался к «ванильному».— Повтори.

Тот молчал.

Валерка дружески потрепал его по плечу.

— Ссышь, когда страшно, значит, уважаешь. В КПЗ. Фамилию пометь,— кивнул он подручному.— Его губа полечит.

К воротам подкатил «воронок». Валерка забежал на КПП — натужно заурчал мотор, ворота разъехались.

— Повезли ребят на отдых,— сказал Валерка и спрыгнул с крыльца.— Грузин-то хрен с ним, а нашего жалко. Скажи, земель?

— Жалко,— кивнул Костя.— Им дембель в мае.

— Ишь ты.— Валерка сочувственно поцокал.— Под самый занавес... Следующий! Чья очередь, бухари?

Валерка занялся следующим пьяным.

— Вторая — все наколотые, я те дам! — базлал Валерка, не переставая обнюхивать солдата.— Я ж в Красноярск за ними ездил. В «Решеты». Привез. Быков пасть открыл, когда их увидел. Сто рыл — и все разрисованы. Струной колют, рисунок чистый. Я себе на дембель тоже наколочку сбацаю, маленькую.

К воротам подошел Бурят. Фуражка у него, как обычно, была натянута глубоко — уши оттопыривались.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — козырнул Валерка, повысив Бурята на одну звездочку.— Записочки подпишите об арестовании.

— Сколько? — спросил Бурят, вытаскивая из кармана ручку, не ручку даже, а стержень шариковый. Все не как у людей.

— Пока трое,— пожал плечами Валерка.— Четыре подпишите на всякий случай.

— Давай,— важно сказал Бурят.— По сколько суток?

— По десять, как обычно. Нормалёк.

— Завтра воскресенье, комиссия из дивизии будет,— строго сказал Бурят.— Утром КПП мыть, пола, матраса вытрухать... Я проверю.

— Вас понял,— козырнул Валерка.— Вытрухнем, как нечего делать.

Бурят потоптался еще немного для порядка и ушел домой, в санчасть.

Валерка положил тяжелую руку Косте на плечо.

— Пойдем, земеля, осетринки покушаем. Погоди, забыл, тебя ж Лысодор в штабу ждет. Еврея тоже. Документы получать. Потом не чухайся, прямо сюда.

— А не надо воровать,— стоя у дверей штаба, по-домашнему увещевал майор Лысодор старшину срочной службы Рехта. — Чего ж теперь рыпаешься? Сколько ты задолжал стране и государству?

— Триста восемьдесят,— ковыряя землю хромовым офицерским сапогом, промямлил Рехт.

— Ну вот. А туда же — домой собрался,— развел руками Лысодор.— Ты сперва с казной рассчитайся... На земле поработай, покопай. На земле рублей шестьдесят в месяц заработаешь. Глядишь, к Новому году и рассчитаешься. А ты как думал?.. Не надо воровать. Снимика ремешочек!

Красавец Рехт расстегнул ремень и протянул Лысодору.

— Ишь как ты пряжечку изогнул, по моде.— Лысодор почти без усилия разогнул пряжку в положенное уставное состояние и вернул ремень Рехту.— Еще раз увижу — на губу... Понятно говорю?

— Так точно! — отчеканил Рехт.

— Ну, золотая рота,— Лысодор обернулся к притихшим на всякий случай дембелям,— заходи в штаб по одному. Прощеваться будем. Ицкович первый.

И Лысодор вступил в темное нутро штаба. Фиша пошел за ним.

Костя оправил гимнастерку, проверил указательным пальцем звезду — на месте ли пилотка.

— Костя, я тебя очень прошу! — Рехт ухватил Костю за рукав.— Выручай! — Он запоздало сунул руку, здороваясь.

Костя принял в сторону, хотел было удержать руку в кармане, но рука сама собой вытянулась наружу и вяло пожала руку бывшего Костиного мучителя. Когда старшина Егор Остапыч Мороз был в отпуске, их четвертой ротой месяц командовал старшина срочной службы Рехт. Костю он тиранил за то, что москвич. Месяц не вылезал Костя с полов и через ночь чистил на кухне картошку.

Рехт — отдать ему должное — сейчас покраснел.

К штабу подошел Валерка.

— Записок не хватило, бухих полно.

— Запиши на себя пяток простыней, а?..— канючил Рехт.— Будь другом! Ведь на полгода тормознут... Запиши, а?..

Валерка ковырялся в зубах, ожидая, что скажет Костя. Костя медленно достал пачку «Опала», вытянул сигарету, протянул пачку Валерке, тот, хоть и не курил, взял сигарету. Затем Костя аккуратненько оправил пачку и не спеша уложил ее в карман. Рехту не предложил, хотя Рехт курил.

— Ну, три простынки...

— Ты человеческий язык понимаешь, да? — полувопросительно-полуутвердительно ласково спросил Костя, снял несуществующую табачинку с языка и долго ее рассматривал.

Рехт уважительно ждал, пока Костя разберется с табачинкой.

— Ты сам-то откуда? — спросил Костя, вытирая пальцы.— Из немцев?

Рехт закивал расчесанной на пробор головой.

— А великий русский язык понимаешь?..

Рехт заволновался, побледнел...

— Я же тебе, Рехт, говорил неоднократно, чтобы ты шел. Ты ходить умеешь?.. Куда?

Костя сложил ладонь трубочкой и, приставив ее к уху старшины, шепнул ему что-то.

— Падла,— сквозь зубы процедил Рехт.

— А ты чем недоволен, в натуре? — Валерка Бурмистров шагнул к ним, не переставая ковыряться в зубах.

Рехт зашагал прочь по бетонке.

— Кусок паскудный! — вдогонку ему крикнул Валерка.— Чеши репу — и скачками! Слышь, земеля,— Валерка уже перескочил на другую тему,— ты мне значок техникумовский на дембель не достанешь? Поплавок? Организуй, земель! Бутылка. Ну, две. Спиртяги.

— Спрошу,— с достоинством кивнул Костя. Как равный равному.— Куда ты их вешать-то будешь?

Валерка с трудом нагнул голову — мешал жирный подбородок — и стал осматривать свою необъятную грудь. Места для будущего значка и правда не было, все занято: «Воин-спортсмен», «Первый класс», «Мастер спорта», «Отличник Советской Армии», комсомольский значок на пластмассовой подкладке, «Ударник коммунистического труда».

— Спрошу,— еще раз пообещал Костя.— Как у тебя с собранием, приняли?

— Приняли! — Жирная Валеркина морда расплылась в улыбке.— По уставу гоняли — я те дам! Потом по политике. А я газет год не читал, сам знаешь, некогда. Короче, приняли.— Валерка подержал на лице улыбку, потом посерьезнел.— Ну, вообще в партию вступить сложно. Кроме меня, одного только приняли.

— Карамычев! — крикнул Фиша, выходя из дверей штаба.— Костя! Заходи!

Костя вошел в штаб. Фиша догнал его в коридоре и сунул четвертной.

— Ты мне будешь должен восемьдесят три рубля!

Костя ошалело уставился на него.

— Иди, чего встал?

Лысодор сидел за столом без фуражки. Костя вошел и почтительно встал у двери.

— Ну, все закончили?

Костя кивнул. Лысодор хитро прищурился.

— А бабий?.. Бабий-то гальюн забыли.

— Вы не говорили,— оторопел Костя.

— Сейчас говорю,— посерьезнел Лысодор.— Еврея предупредил, тебе говорю и цыгану скажу. Надо доделать. Там дел-то на копейку. Когда отбываешь?

— Послезавтра хотим.

— Ну вот, ночью и сделаете. Подойди поближе.

Лысодор открыл сейф, вытянул из нутра толстый пакет. У Кости пересохло во рту. Лысодор про себя прочел фамилию на конверте.

— Не твой. Вот этот твой. Ка-ра-мы-чев. Константин Михайлович.

Лысодор встал, надел фуражку.

— Ну так, Константин Михайлович. Держи! — Он протянул Косте пакет.— С окончанием действительной службы тебя, Карамычев! Родителям передавай привет от командования. Службой твоей довольны.

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Костя, тыкаясь пальцами в висок.

Он развернулся, шагнул к двери и замер: «А четвертак?»

Лысодор сидел раскрасневшийся, теребил бумажки. Левый ящик письменного стола был слегка выдвинут.

— Чего забыл? — не поднимая головы спросил Лысодор.

— Тут вот...— Костя подался к столу, пихнул деньги в ящик.

Лысодор на весу расправил четвертак.

— Разменять, что ль?

— Да-а-а,— проблеял Костя.

3

Костя чихнул. Еще раз, еще... И проснулся. Прочищенный чихом нос сразу учуял знакомый запах. План шабят! Анашку! Костя сел на койке, его слегка качнуло. Посмотрел время — часов не было. След белый был, а часы — ёк.

— Сняли,— пробормотал Костя, озираясь вокруг. Вора видно не было. Был запах, запах хорошего ломового плана. Дурь чистой воды.

Костя встал, поплевал на ладони — провел по гимнастерке и бриджам: липнет к хэбэ всякая парша, матрац драный, надо у молодых поменять. Потом опомнился: какой матрац? Завтра домой!

Что-то уж очень скоро напился он у Валерки на КПП. Программу «Время» хорошо помнит, «Братья Карамазовы» уже пошли затуманенные, а конец и вовсе смазался. Где цыгане начали петь, плясать. Только вот почему там цыгане? У Достоевского евреи Мите Карамазову играли перед арестом. Это Костя помнил точно. Еще удивлялся, когда читал...

Казарма храпела.

Запах плана шел из Богданова угла, пробиваясь сквозь казарменную вонь. А перешибить ее нелегко: две с лишним сотни сапог и, соответственно, портянок.

Костя достал сигарету и долго прикуривал в надежде, что Женька заметит.

И тот заметил, свистнул тихонько:

— Ко-отик!..

Плановые были в сборе. Женька, Миша Попов, Коля Белошицкий, Эдик Штайц и незнакомый парень в накинутом бушлате. Надвинутая фуражка закрывала его лицо. Парень сидел возле Женьки. На тумбочке в консервной банке горела свечка.

— Сколько времени, Котик? — улыбнулся Женька

и протянул Косте часы. — Снимать надо на ночь. Не дома. Когда отвальную?

— Перед поездом.— Костя застегнул часы.

— Ты фосфор-то стери с циферблата,— посоветовал Коля Белошицкий.— Вредно для здоровья.

— Богдан,— простонал Миша Попов,— не мурыжь, кайф проходит.

— Садись, Москва. — Эдик Штайц подвинулся.

Женька нацепил на хрупкий кончик стеклянного челима новый косяк, подлил в челим вина из кружки, стал раскуривать.

— Ты от Танюшки как добрался? — с подсвистом спросил он Костю.

— Марик Мильготин подвез.

— От какой Танюшки? — проворковал парень в фуражке. Знакомым женским голосом.

— Люся? — Костя смешался.— Вы?

— На, дембель! — Женька протянул ему раскочегаренный челим.— На посошок. Все сделали?

Костя осторожно потянул в себя замечательный дым. Челим уютно забулькал.

— Почти. К утру кончим — и отвал.

— А нас до майских, наверно, не выпустят. Ты адрес мой не потерял питерский?

Костя проверил в записной книжке: на месте.

— Колесико не желаешь? — Коля Белошицкий достал из кармана таблетку.

Костя помотал головой.

— По люксу пойдет.

— Дай! — рыпнулся за таблеткой Эдик Штайц.

— Тебе звездюлей надо, а не колесико! — мрачно изрек Миша Попов. Миша уже неделю дулся на Эдика: послал его к знакомой аптекарше за каликами, а Эдик не тех таблеток накупил, нажрался и полдня стройбату покоя не давал — бегал ото всех в одном сапоге, а в другом, орал, змея.

— Тсс! — прошипел вдруг Коля Белошицкий, настороженно поднимая кверху вислый нос.— Показалось?..

— Менты на зоне,— вяло пошутил Миша Попов.

— Вя-язы,— гнусаво подыграл ему Эдик, приставив к шее два пальца.

На всякий случай Женька вырвал челим у Кости и спрятал в тумбочку, аккуратно спрятал, так, чтобы с носика не свалился недокуренный баш. Женька замер, жестом приказав не шевелиться. Стало слышно, как бьется в банке со свечой не вовремя ожившая тяжелая муха.

— Проехали,— буркнул Миша Попов.

Женька полез в тумбочку. Протянул Мише челим. Миша затянулся и закрыл глаза. Курнул еще раз и с полуоткрытым ртом отвел руку с челимом в сторону — следующему.

— Ништяк,— сказал сидевший напротив Миши Эдик Штайц.— Заторчал.

Женька тем временем высвободил челим из вялой Мишиной руки, обтер сосочек и протянул Люсеньке.

— Богдан,— из сонного омрачения возник голос Миши Попова,— ты новье будешь брать на дембель?

Он так вяло и незаинтересованно это спросил, что Женька не ответил.

— Покажи, как надо! — переживал Эдик Штайц, видя, что Люсенька неумело, с опаской берется за челим.— Людмила Анатольевна, вы не взатяжку, вы с подсосом, не сильно... Богдан, покажи толком!..

Люсенька запыхтела чрезмерно, челим заклокотал.

— Дам в лоб — козла родишь,— с закрытыми глазами пригрозил неведомому противнику Миша Попов.

— Та-ащится! — радостно отметил Эдик Штайц,— Готов Мишель. Конопелька-то наша, тутошняя. А то фуфло, фуфло...

В данном редком случае Эдик Штайц был прав. В

настоящий момент курили его анашу, его изготовления, а главное — его замысла.

Минувшим летом весь отряд по воскресеньям вместо выходных стали вдруг вывозить на поля собирать картошку. Как пионеров. Только возили почему-то в зековозах — длинных машинах с высокими бортами, внутри лавки поперек, а над головой решетки, даже не встать. Хорошо хоть без охраны. Картошечку собирали соответственно. И себе, и Городу, и кому там еще... Коля Белошицкий сразу надумал, как мимо дела проплыть. Шел по гряде, ботву обрывал, возле грядки складывал, а напарник следом бежал и черенком лопаты грядки ворошил. Картошечку не трогали, упаси бог. Картошечку на зиму оставляли зимовать. А офицерье в машинах сидит, не смотрит. Тем более холодно — снежок уж начал капать. Неуютно. План считали по грядкам, не по картошке, и получилось, что в отделении Богдана перевыполнение. А собирали только Фиша с Нуцо. Всерьез ковырялись. Ну им простительно — народ деревенский.

Тогда-то Эдик Штайц и обнаружил, что здесь конопли завались. Правда, по колено только, но сойдет в армейских условиях. Начался лихорадочный сбор. Потом Эдик пробил коноплю, пыльцу замацовал — анашка получилась первый сорт. Только вкуриться нужно — с первых разов не пробирает. А потом благодать: с табачком растер, косячок набил — и торчи!..

— Богдан,— уплывающим голосом пробормотал Миша Попов,— пихни колючего...

Женька не реагировал. Он пристроился в самом углу, приняв Люсеньку под крыло, тихонечко ее полапывал. Костя сидел напротив, ему стало совсем хорошо и хотелось, как всегда под кайфом, посмеяться и еще — стихи посочинять. Свечка разгорелась вовсю, коптящий язычок пламени вырос из консервной банки и метался перед оконным стеклом...

«Шарашится по роте свет голубой и таинственный...— сочинял Костя, спрятав лицо в ладони.— Шарашится по роте свет голубой и таинственный... И я не совсем уверен, что я у тебя единственный...»

— Богда-ан! — угрожающе прорычал Миша Попов.

Женька отлип от Люсеньки.

— Чего тебе?

— Пихни колючего...

— Завязывай, Мишель, понял? Сказал — нет, значит — нет.— И снова приобнял библиотекаршу.

Миша Попов последнее время ходил не в себе. Он вообще курил мало, он на игле сидел. А в последнее время сломалась колючка — деньги у Миши кончились. На бесптичье он даже выпаривал какие-то капли, разводил водой и ширялся. Доширялся — вены ушли. И на руках и на ногах, все напрочь зарубцовано. Женька сам не ширялся, но ширятель был знаменитый, к нему из полка даже приезжали. Он Мишу и колол. А недавно сказал: «Все, некуда».

Мишаня в слезы: как некуда, давай в шею! Женька орать: «Ты на всю оставшуюся жизнь кайф ломовой словишь, а мне за тебя вязы!»

От скрипа коек проснулся Старый. То лежал, смотрел на них, но спал, а сейчас зашевелился — разбудили.

Костя протянул ему челим, Старый принял его в мозолистую корявую руку. Ни у кого в роте таких граблей не было, как у Старого. Отпустил бы его капитан Дощинин на волю, чего он к нему пристал?..

— Хочешь, я с Лысодором поговорю за тебя? —спросил Костя.

— При чем Лысодор, он без кэпа не решает,— ответил Старый и вернул Косте челим.— Не хочу. А Дощинин не отпустит.

Он достал обычную папиросу и, видимо с отчаяния,

так сильно дунул в нее, что выдул весь табак на Эдика Штайца.

— Констанц, оставь мне бушлат,— попросил Старый.— Тебе зачем?..

— О чем говорить! — кивнул Костя.— Заметано.

Костя вдруг осознал, что дембель завтра, вот он, рядом. И даже покрылся испариной. И встал.

— Чего ты? — спросил Женька.

— Пойду помогу, ребята возятся, Фишка с Нуцо...

— Сиди! — Женька за ремень потянул его вниз.— Только кайф сломаешь. Сиди.

Люсенька закемарила. Женька подсунул ей под голову свою подушку и надвинул фуражку, чтоб скачущий язычок пламени не мешал глазам.

Потом Женька встал посреди прохода и обеими руками шлепнул по двум верхним койкам. Койки заскрипели, отозвались не по-русски.

— Не надо, Жень...— вяло запротестовал Костя.

Но Богдан уже сдернул с верхних коек одеяла.

— Егорка, Максимка!..

Сверху свесились ноги в подштанниках, и на пол спрыгнул сначала крепенький Егорка, а затем нескладный, многоступенчатый полугрузин Максимка. Оба чего-то бормотали, каждый по-своему.

— Подъем, подъем! — повторял Женька, похлопывая их по плечам.— Задача: одеться по-быстрому — и в сортир. Там Ицкович и Нуцо, скажут, что делать. Вопросы? Нет вопросов. Одеться — двадцать секунд.

Егорка и Максимка стали невесело одеваться.

— Не здесь, не здесь.— Женька вытолкал их на проход.

— Торчит! — Коля Белошицкий тронул Женьку, показывая на Люсеньку.— Людмила Анатольевна!

— А-а...— донеслось из Люсеньки.

— Насосалась, кеша кожаная...— проскрипел Миша

Попов.— Слышь, Богдан, гадом быть, куруха под окнами шарится, ктой-то ползает.

— Ты давай, давай! — отмахнулся от Миши Женька, но на всякий случай прислушался. Было тихо.

— Же-еня-я...— прошептала Люсенька.

— Что с тобой? Плохо?

— Тошнит...

— Сукой быть, ктой-то ползает под окнами,— бухтел свое Миша Попов.

— Мам-ма...— простонала Люсенька.— Тошнит.

— Вкось пошло,— улыбнулся Эдик Штайц.— Точняк — блевать будет!

— Давай ее на улицу,— предложил не заснувший еще Старый.— На свежачок...

— Не надо...— стонала Люсенька.— Ма-ма...

Костя протянул руку к окну — из щели бил холодный воздух.

— Сюда ее, к стеклу, похолодней,— сказал он.

Люсеньку передвинули к окну, она уперлась лицом в холодное стекло.

— Ага-а...— простонала она.— Лучше-е...

— Блевать будет,— уверенно повторил Эдик.— Сейчас бу...

Эдик не успел договорить — Люсеньку вырвало прямо на стекло. Консервная банка упала на пол, свечка потухла. Люсенька привалилась к окну, тихонько постанывая.

— Тряпку! — рявкнул Женька, оборачиваясь к проходу, где мялись уже почти одетые Егорка с Максимкой.

— Богдан! — прорычал из дальнего угла разбуженный Сашка Куник, кузнец из второго взвода.— Кончай базар!

— Отдыхай лежи! — заорал Женька, ощерившись.

В ответ в углу звякнули пружины — Куник встал.

— Я кому сказал: тряпку! — Женька хлопнул в ладоши.

За окном мелькнула тень, зазвенело разбитое стекло, голова Люсеньки дернулась.

— А-а! — закричала Люсенька, хватаясь за лицо руками.

— Свет! — взвыл Женька на всю роту.— Бабай! Свет!

— Рота, подъем! — спросонья заорал Бабай и врубил в казарме общий свет.

4

Разбили еще одно окно с другой стороны.

Костя судорожно рванулся к выходу.

— Куда?! На место! — Куник затолкал Костю в проем между койками.— Подъе-ем! — орал он тонким голосом, не соответствующим его огромному волосатому тулову.— Подъем!..

Женька сидел на корточках возле Люсеньки, пытаясь отодрать ее руки от лица. Сквозь пальцы высачивалась кровь и текла в рукава голубой кофточки.

— Люся, Люся,— задыхаясь, бормотал Женька.— Ну, чего ты?.. Покажи, Люсенька... Давай посмотрим...

Стекла лупили с разных сторон. Пряжки ремней, проламывая стекло, заныривали в казарму и исчезали, вытянутые наружу. Сразу стало холодно. В разбитые окна летели камни и мат.

Бабай метался по роте.

— Чего такое?! — Он подскочил к сидящему на корточках Богдану, вцепился ему в плечи.— Чего?!

— Воды! — отшвырнул его Женька.— Воды дай!

Куник вырвал у Бабая из рук графин, выскочил из казармы. И тут же ворвался назад, держась рукой за

окровавленное плечо. В другой руке было зажато отбитое горлышко графина.

— Вторая рота. Блатные, падла! — рычал он.— Подъе-ем!.. Без гимнастерок!..

Холодная казарма гудела. Молодые соскакивали с верхних коек и испуганно одевались, не попадая в штанины. Двоих залежавшихся Куник сдернул сверху.

— Кому не касается?! — орал он.— Без гимнастерок! Строиться! Ремни на руку, вот так!

— Рота, отставить! — всунулся было Брестель, вспомнив, что он за начальника.

— Кыш, шушера! — Куник дал ему по башке.

— Дай ему, чтоб на гудок сел! — посоветовал прояснившийся уже Миша Попов, стаскивая узкую перешитую гимнастерку.— Раскомандовалась, сучка квелая...

— Холодно без хэбэ! — вякнул кто-то.

— Кому холодно?! — обернулся Куник.— Строиться! Рота, слушай мою команду!..

За окнами с одной стороны казармы стало светло — врубили прожектора на плацу.

— Уходят! — радостно заорал молодой у окна.

Костя рыпнулся в ту сторону: действительно, солдаты бежали через плац к казарме второй роты.

— Суки! — ощерился Куник, подстегнутый неожиданным отступлением нападавших.— Четвертая рота! За мной!.. На плац!.. Без гимнастерок!..

Выход из казармы был узкий, в одну половину двери, и четвертая рота вытекала наружу в холодную ночь тонким ручьем. Оба пожарных щита у выхода уже разобрали, и сейчас со щитов срывали красные конусные ведра.

Раздетая, в белых нижних рубахах, четвертая рота скучилась у торца казармы. Впереди был пустой, ярко освещенный бетонный плац, подернутый ночным ледком.

— Одесса! — заорал Куник.— Музыку вруби!

Коля Белошицкий вылущился из гудящей толпы и послушно полез по железной лестнице в кинорубку.

Над плацем женскими голосами громко заныли битлы.

Белошицкий вниз не спустился.

Костя лихорадочно перебирал глазами роту: «Фиши нет, Нуцо нет, а я, я-то почему здесь? Зачем я-то? Мне ж домой!..» От зависти к отсутствующим Фишелю и Нуцо у Кости схватило живот. Он чувствовал: будет что-то страшное, о чем пока не знает этот волосатый идиот Куник, и Богдан не знает, и Миша Попов. Только он, Костя, знает...

«Господи,— стонал про себя Костя,— ведь убьют!..» Анашовый кайф вылетел из его головы, как и не было. Просто так убьют, ни за что! Пусть они все передохнут: Куник, Богдан, Миша... Он же к ним не относится. Он же не с ними. Он другой! Другой!

А Нуцо был здесь. Выпорхнул из-под руки Куника и стал с ним рядом. С лопатой, к которой прилипла уже знакомая вонь. Он преданно смотрел на Куника, ожидая команды, и улыбался.

— Фиша где?! — крикнул ему Костя.— Где Фишка?

— За губарями побег! Валерка велел! — блеснул зубами цыган.

Поджарый Нуцо нетерпеливо прыгал вокруг огромного Куника.

— Пошли! Чего стоим? Холодно!

«Тебя кто звал?! — стонал про себя Костя.— У тебя ж отмазка!..»

Темная казарма второй роты молчала вдалеке, казалась спящей.

Над трибуной полоскался распяленный кумачовый транспарант: «Военный строитель! В совершенстве овладей своей специальностью!»

— За мно-ой! — Куник крутанул в воздухе ремнем,

как шашкой, и двинул по диагонали плаца ко второй роте.

Четвертая с лопатами, ломами наперевес, галдя, повалила за ним, пряжки мотались у колен.

— Не бзди, мужики! — орал Куник.— Главное, всей хеврой навалиться!..

— «О-о гё-ол!..» — стонали битлы.

Куник был уже на середине плаца, как вдруг перед ним оказался Бурят. В расстегнутом кителе, в тапочках, Бурят судорожно цеплял на рукав красную повязку дежурного.

— Четвертая рота! Стой на место!.. Приставить ногу к ноге! — Запутавшись в командах, он обеими руками уперся в волосатую Сашкину грудь.

— Мочи Бурята!

Куник, не останавливаясь, отгреб Бурята в сторону. Тот отлетел, упал, заверещал что-то, фуражка покатилась по плацу. Рота валила дальше, за Куником.

До казармы оставалось шагов тридцать. Вторая попрежнему молчала. Становилось жутко. Видимо, это почувствовал и Куник.

— Не бзди, мужики! — снова заорал он и орал так через каждые два-три шага. Шел и орал, уже даже не оборачиваясь.

Женька со Старым рванулись вперед, чтобы не отстать от Куника. Костя тоже пошел быстрее. Женька держал в руке арматурину. Старый просто шел, шел без всего, ссутулившись по-пожилому, похожий на мастерового из фильма «Мать».

— Сука старая!..— всхлипнул Костя, со злобой взглянув на свой кулак, в котором был зажат ремень. Опять Старый умнее всех, ремня нет — вины меньше. Женька хлопнул его по плечу:

— Чего ты?

— Ничего! — огрызнулся Костя, стряхивая его руку.

— Не бзди, мужики! — взвился под небеса истошный визг Куника.

И вдруг черная молчавшая казарма ожила. Вспыхнул свет. Кроме центральных дверей, распахнулись боковые. И из трех прорех казармы живыми потоками наружу ломанулись блатные.

— Глуши козлов!..

— Сучье позорное!..

— Петушня помойная!..

— Мочи пидоров!..

Костя увидел, как Куник, метнувшись навстречу толпе, сливающейся из трех потоков, увернулся от вспорхнувшего над его головой лома, и пряжкой, под свист ремня, уложил одного и, обернувшись, ловко достал первого — с ломом, уже врывавшегося в чужую толпу. Оба подмялись, звякнул о бетон покатившийся лом.

— Минус два! — провопил Куник.— Мочи блатных!

Драка расползлась по всему плацу.

Костя сразу подался в тень трибуны, в темноту. Но и там было страшно: вдруг увидят, что прячется.

На мягких ногах вбежал он в тусующуюся толпу одетых и своих. Он крутил вокруг себя ремнем, надеясь, что никто к нему не сунется. Его и не трогали. И он снова отбежал в тень — передохнуть. Нуцо уделал одетого — лопатой, плашмя.

— Луди вторую роту! — кричал Женька, молотя арматуриной по одетым.

Костя готов уже был в очередной раз ворваться в драку, уже ногу приготовил для толчка, но от удара в спину у него перехватило дух.

— А-а!.. Ма-а-ма!..

Пока он несколько мгновений ждал смерти, стриженый блатной, отоваривший его пряжкой, побежал дальше. Костя понял, что не умрет. За блатным рыпнулся Нуцо, оторванный от своей драки Костиным воплем, и

успел приголубить блатного лопатой. Из прорвавшейся на спине гимнастерки потекла чернота. Блатной сунул руку за спину, глянул на нее и помчался к своей казарме.

— Назад! — прокричал кто-то.

Неожиданно, как по команде, вторая рота стала отступать к своей казарме. Четвертая навалилась на отступающих.

— Козлы! — орал Куник. Ремень он потерял и дрался просто так.

— Еще! — взвыл рядом с Костей Миша Попов, тыча рукой в сторону.

Костя повернул голову, и у него онемели ноги: от техкласса отвалилась толпа одетых и молча неслась на них.

И отступившая было вторая рота мощно подалась вперед. Блатные схитрили.

Полуодетые, придавленные сбоку свежими силами, заметались по плацу и, сбивая друг друга с ног, бросились домой, к казарме.

— Куда?! — заорал Куник.— Сто-ой! Стой, падлы!..

Костя бежал с зажмуренными глазами. Когда он открыл их, увидел, что в метре от него впереди несутся трое одетых с палками. Он обхватил голову руками и, споткнувшись, кубарем покатился по шершавому плацу. Одетый рыпнулся к нему с палкой над головой.

— Не бе-ей!..— Голос Кости сорвался на писк.

— Удав гнутый! — Одетый с размаху ударил его сапогом. Хотел по голове, но Костя увернулся — попал по ребрам. И побежал дальше.

Костя потерял дыхание и на четвереньках уполз с плаца в темноту. И заткнувшись за голый куст акации, скрючился. Потом с трудом вытолкнул накопившийся воздух и понял, что опять жив.

Вдалеке из толпы одетых с криками вырывались полуодетые и неслись к казарме.

Блатные лупили оставшихся.

Вдруг Костя услышал возле своей головы цокот подков, не стройбатовский цокот... Задевая за куст, на плац выносились губари, на бегу сдергивая с плеч автоматы. Раздались короткие очереди.

Костя впервые в жизни слышал настоящие выстрелы.

Драка замерла.

— Губа-а!..

Все бросились врассыпную. Одетые бежали рядом с раздетыми. Куник с Мишей Поповым ломанулись во вторую. А одетые мчались к ним — в четвертую.

Костя отжался от земли, встал в несколько приемов, не сразу, и, наращивая ход, заковылял в роту.

На плацу, помыкивая, корячились подбитые.

Трещали выстрелы.

Костя споткнулся, налетев на сугроб, и, падая, увидел, как здоровенный длинный губарь с откляченной задницей гнал перед собой раздетого с лопатой и палил вверх из автомата.

И вдруг раздетый споткнулся, выронил лопату, свет прожектора мазнул его по лицу, блеснули зубы. Нуцо!

Губарь с разбегу налетел на него и стволом автомата ударил в спину.

Нуцо обернулся и застыл, уставившись на губаря.

— Ты-ы? — прошипел он.— Ты-ы?..

И пошел на губаря. Тот молча пятился, по-дурацки загораживаясь автоматом.

— Ты! — выкрикнул Нуцо.— Ты!

— Не подходи! — Губарь перехватил автомат.— Убью!

Сзади над губарем взметнулась лопата. Костя видел ее блестящий штык. Губарь выронил автомат и схватился за голову. Вскрик был совсем слабый, заглушенный остатками драки и редкими выстрелами.

Нуцо шагнул в темноту, куда упал губарь, и медленно выпятился обратно.

— Беги! — громко прошипел он, выдергивая у солдата из рук лопату.— Беги, Фиша!

...Деревянные подпорки-столбики у крыльца четвертой роты были выломаны. Женька Богданов метелил одетых, но те, не обращая внимания на удары, тупо перлись в чужую роту.

Костя долго втискивался в узкий дверной проем, заклиненный ошалелой толпой. Кто-то оттолкнул его, он снова втиснулся, его ударили по лицу, он не ощутил боли. Добравшись наконец до своей койки, Костя упал на нее и с головой накрылся одеялом.

Сколько времени прошло, он не знал. Кто-то сдернул с него одеяло. Костя открыл глаза. Быков.

За разбитыми окнами тормознул «Запорожец» Лысодора. Лысодор, в шапке пирожком, в коричневом драповом пальто, быстро вошел в казарму.

— Здравствуй, Петр Мироныч! — протянул ему руку Быков.— Кто дежурным сегодня?

— Буря... Младший лейтенант Шамшиев.

В роту влетел старшина Мороз. Дернул руку к козырьку.

— Твои, Остапыч,— с удовлетворением сказал Быков.— Молодцы ребятки... Ты им сухари суши, Остапыч.

Рота молча стояла посреди казармы.

— Зачем сухари? — тупо спросил Миша Попов, пробуя зубы на шаткость.

— Кто спрашивает? — обернулся к нему Быков.— Ты, плановой? Ты зубки-то не трогай, опусти ручки... Вот так. Сухари зачем?.. Гры-ызть... Сидеть и грызть. Вот так вот, ребятки-козлятки. А вы как думали? Не хочете по-человечески служить,— голос Быкова набрал полную силу,— башкой к параше!.. Всю роту! На строгач! Роба в полоску!

— Вторая начала! — выкрикнул кто-то из строя.

— Кто сказал — шаг вперед!

Никто не вышел.

— Чего творят, падлы! — покачал головой Мороз.— Два года и тех не могут... А я, мы все вот...— Мороз поочередно ткнул пальцем в Быкова, в Лысодора и в себя.— И до войны, и войну всю, и после...

— Ты им, Остапыч, больше не объясняй,— переходя на обычный свой красивый спокойный голос, сказал Быков.— Объяснять своим можно. А это... Р-рота-а! Слушай мою команду! Становись! Равняйсь! Смирно! Старшина! Поверку полным списком. Из роты никому. Где Дощинин?

— Поехали за ним.

— А кто «подъем» крикнул?

Строй молчал, но все как один невольно посмотрели на Бабая. Бабай вобрал башку в плечи и замер, вздрагивая, как от холода.

Брестель с журналом в руках начал поверку.

— Кто дневалил? — спросил Быков.

— Это не я...— заплакал Бабай.

— Что такое? — брезгливо поморщился Быков.— Старшина!

Мороз подался вперед.

— Да он сейчас... Пройдет у него... Керимов! — рявкнул он на Бабая.— Чего раньше времени?! Тебя никто ничего, а ты в сопли?!

— Кричал...— залопотал Бабай.— Я не знал... Мне кричали — я кричал.

— На КПП,— бросил Быков.— Потом будем разбираться. Начинайте поверку.

В роту вбежал Валерка Бурмистров со своими.

Бабай стоял последним в строю. Слезы текли по его небритым щекам.

Мороз хлопнул по спине Валерку.

— Это... Сведи его, что ль. Чего он здесь? Тулуп дай. А то замерзнет. Тулуп, говорю, дай!

Валерка вытянулся:

— Есть!

— Понабрали армию...— бормотал Мороз.— Уводи, кому сказал!

Валерка потянул Бабая за рукав.

— Пошли...

Мороз заглянул в Ленинскую комнату, покачал головой.

— А здесь-то стекла кому мешали?.. Графин где?

— Разбили при наступлении,— усмехнулся Куник.

— Ты, верзила, молчал бы! С тебя первый спрос! — Мороз погрозил ему татуированным кулаком.

Брестель закончил поверку и с журналом подошел к Морозу. Мороз надел очки, взял журнал в руки.

— Все по списку? — спросил Быков Мороза.

— Никак нет, двое в больнице, один в бегах, трое насчет туалета, чистят. Их сюда без бани нельзя — в калу все...

— Карамычев здесь,— заложил Костю Брестель.

— Отбой,— скомандовал Быков и вышел из казармы.— Минута. Всем по койкам!

Строй распался, загудел.

— Слышь, Карамычев, твои не воевали, ясно? — сказал Мороз, подойдя к Костиной койке.— Ты-то сам на кой хрен в казарме?

— Не знаю...— промямлил Костя.

— Узнаешь... Следствие вот начнут — все узнаешь... Над тобой койка пустая? Я лягу.— Мороз расстегнул мундир, под мундиром была красная бабья кофта, застегнутая на левую сторону.

— Зачем вам наверх, товарищ старшина? — засуетился Костя.— Ложитесь внизу, я наверх...

— Ладно,— скривился Мороз и полез на верхнюю койку.— Это у вас, у сопляков, счеты: кому где спать... Петух жареный не долбил еще... Живые все?

— Губаря кто-то сделал,— сказал Женька.

— Их долбить — стране полегче,— сказал Старый.

— Молчал бы... Башка как колено, а домой возвернуться не можешь!

Мороз заворочался, укладываясь поудобнее.

— Кто губаря — разберутся,— покряхтел он,— а вот библиотекарке глаз хоть фанэрой зашивай...

— Откуда вы знаете?! — вздернулся Женька.

— Ишь ты! — ухмыльнулся Мороз.— Задергался, хахаль кособрюхий. Будешь ей теперь из тюряги за увечье платить. Побахвалиться захотелось перед сикухой: нет, мол, на меня управы!.. Хочу — дурь сосу, хочу — бабу в роте черепешу... Дурак! Спать. Отбой.

Казарма затихла.

Костя лежал с открытыми глазами. Наверху под Морозом заскрипели пружины.

— А билеты-то взяли? — шепотом спросил Мороз, свесившись с полки.

— Взяли.

— Ты вот что, ты одеись и к своим иди, может, ничего, может, получится...

5

Голая — старики в плавках, молодые в одних подштанниках,— посиневшая четвертая рота стояла выстроенная вдоль казармы.

Комиссия — коротенький полковник и два майора в сопровождении Быкова, Лысодора, капитана Дощинина, Мороза и забинтованного Бурята — неспешно бродила вдоль строя.

Уже начались хитрости: поврежденные в побоище старались по мере приближения комиссии встать в начало строя, где комиссия уже прошла. Поэтому комиссия прошла вдоль строя один раз, потом еще раз — со спины.

— Руки вверх! — скомандовал коротенький полковник.

Двести с лишним багровых стройбатовских кулаков на белых руках вскинулись к потолку.

— Туда,— негромко скомандовал полковник Сашке Кунику. Под мышкой у него синел квадратный отпечаток пряжки.

Куник понуро поплелся в Ленинскую комнату, куда комиссия загоняла явных участников.

Через некоторое время восемнадцать человек без ремней в сопровождении губарей потопали по бетонке к воротам. И Куник, и Женька, и Миша Попов. На губу. На КПП места мало.

В казарме вставили стекла, стало теплее. Максимка оттирал присохшую к тумбочке кровь и рвоту.

— ...Вина хорошего попьем...— Нуцо ломом натягивал половые доски, а Костя шил гвоздем.— У меня вся Молдавия родня. У меня дед есть. Он еще против вашего царя воевал. Его побили, он глупой сделался. И слабый весь. Румынский царь ему пенсию платил. А потом ваши пришли перед войной. Перестали платить, враг стал...

— В Москву пусть напишет,— посоветовал Фиша.

Нуцо засмеялся.

— Да он помрет скоро. Старый... Мороз идет!

Мороз подошел к яме, заглянул в нее.

— Кончаете уж?.. Ну-ка хэбэч скидайте!

Фиша стянул робу.

— Ты-то чего раздеешься? — жестом остановил его Мороз.— Ты ж на плацу не был. Одеись назад.— Мороз грузинов.— Обошел голого по пояс Нуцо.— Чисто. Одеись.— Посмотрел на Костю спереди, остался доволен.— покачал головой.— Ишь, какая нация шерстистая, хуже Повернись! (Костя повернулся спиной.) Божечки ж ты

мой!.. Ты погляди, у него ж спина!.. И пряха. След. Куда ж ты лез-то паразит! — Он пыхнул дымом в сторону.

Костя стал вяло одеваться.

— Да, кто ж губаря-то, а?..

Костя пожал плечами. И посмотрел на Нуцо. И Нуцо, улыбаясь, тоже пожал плечами.

— Работайте,— сказал Мороз.— Бог даст...

С губы донеслась песня: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди».

— Ты зубы-то сыми,— проворчал напоследок Мороз в сторону Нуцо.— Медь во рту — один вред... И людям в глаза бросается... А то слухи: с зубами ктой-то по плацу прыгал...

Мороз ушел.

Нуцо ногтями стал торопливо сковыривать бронзовые коронки, от усердия даже на землю сел.

— Ты чего? — обеспокоился Фиша.— Земля холодная, а у тебя почки болят. Встань.

Перед самым ужином прибежал Валерка Бурмистров. Валерку бил колотун, тряслось все: и сиськи и брюхо...

— Земеля-я! Мать твою...— зашипел он, наступив кедом на гвоздь в доске. С перекошенной от боли мордой Валерка другой ногой придержал доску, снялся с гвоздя.— Чурка ваш повешался, на хрен!

— Бабай?! — выдохнул Костя.

— Он... Сволочь,— шипел Валерка, тряся ногой.— Заражения не будет?

— Когда?

— Да он не до смерти,— скривился Валерка.— Слышь, еврей! — крикнул он Фише, столбом замершему в яме.— Йод принеси! По-быстрому! Кому сказал?!

Фиша не трогался с места.

— Принеси,— попросил Костя.— В канцелярии аптечка.

— Сплю, земеля, и чего-то прям, знаешь, ну не знаю, как сказать,— бормотал Валерка.— Встал, в глазок глянул. А он висит, ногами дрыгает. Я раз — и за сапоги!.. Чуть ему калган не оторвал.

— Живой он?

— Дышит... Я его малость...— Валерка потусовал кулаками воздух.— А чего он?! Я с него ремень брючный забыл, он на нем и повешался. Пойдем глянем, а то я один не это... Пойдем, земеля...

Бабай лежал на бетонном полу в камере. И плакал. Лицо его было разбито.

— Бабай! — Костя потеребил его за рукав.— Ты чего?.. Зачем ты?..

— В турму не хочу...

— Да кому ты, на хрен...— замахнулся по инерции Валерка.

— Позови Морозу! — плакал Бабай.— Позови старшину Морозу!..

— Позвать бы...— поднимаясь с корточек, полувопросительно сказал Костя.— Мороз в роте?

— За дочками в детсад пошел. Да вон он!

Мороз стоял на трамвайной остановке, держа за руки двух девочек.

Когда жена Мороза, работавшая поварихой в полку, в Шестом поселке, опаздывала на автобус, Мороз сам забирал дочек из сада, и они до темноты ошивались в роте. Богдан приволок для них со свалки трехколесный велосипед, подвинтил, подкрасил.

— Товарищ старшина! — заорал Валерка.

— Чего орешь? — Мороз потянул девочек к воротам КПП, приподнял фуражку, пятерней прочесал седые волосы.

— Чурка чуть не повешался! — выпалил Валерка.— Я сдернул!

— Чего-чего? Идите-ка погуляйте,— сказал Мороз

дочкам.— Велисапед свой в каптерке возьмите, покатайтесь.

Девочки вприпрыжку убежали.

— Живой? — спросил Мороз.

— Нормальный ход. Не до смерти.

— Та-ак...— пробормотал Мороз.— Начинается...

6

Последним из трамвая вылез старик в азиатском халате и на костылях. На голове у него была огромная лохматая папаха из рассыпающихся завитков, а на единственной ноге — нерусский коричневый сапог в остроносой калоше. За спиной старика был вещмешок.

Он вылез из автобуса, подпрыгнул пару раз на ноге, установился и поправил вещмешок. Потом стал озираться.

— Стирайбат? — сказал он Косте.— Сын тут.

Костя показал на железные ворота с двумя красными звездами.

— В гости,— сказал Костя Валерке, подводя старика к крыльцу КПП.

— Фамилия?

Старик достал из-за пазухи паспорт, сунул Валерке.

— «Керимов»,— прочел Валерка.— Какой роты?

— Стирайбат,— кивнул старик.

— Керимов, Керимов?..— повторял Валерка, наморщив лоб.— Погоди.

Валерка занырнул в КПП и пальцем поманил за собой Костю.

— Слышь, земеля! Гадом быть, Бабаев пахан!

Валерка вышел на крыльцо, отдал старику паспорт.

— Вы это...— Валерка почесал за ухом.— Вы чайку попейте с дороги. Командир скоро придет, тогда... Эй!

Из караулки выскочил молодой.

— Отведешь товарища в столовую. Чтобы ему там...

Из столовой Мороз привел старика в роту.

— В ногах правды нет,— сказал он, пододвигая старому туркмену табуретку.

Старик сложил костыли и, придерживаясь за тумбочку, сел на половину табуретки, на свободную половину табуретки показал Морозу, приглашая его тоже сесть.

Мороз похлопал его по ватному плечу.

— Сиди, сиди. Дневальный где?! Рзаев!

Дневального он нашел в каптерке. Егорка дописывал хлоркой свою фамилию на подкладке нового бушлата. Под свежей фамилией «Рзаев» — фамилия прежнего владельца.

— Чем занят?! — заорал на него Мороз.— Где твое место?

Егорка вскочил, сунул бушлат в хлам, наваленный в углу каптерки.

— Эти не разъехались, а уже застариковал,— проворчал Мороз.— И побройся хоть. От людей стыдно.— Он кивнул на старого Бабая, привалившегося лохматой папахой к стене.

Старик открыл узкие глаза.

— Оглум, мусульманмысан?

— Бяли, мусульманым,— ответил Егорка совсем иным, почтительным, голосом.

— Понимает,— удивился Мороз.— Так у вас что ж, нации одинакие?.. Или как?

— Понимаю просто, и все!

— Тогда таким порядком.— Мороз снял фуражку, провел по волосам пятерней.— Рзаев, слушай сюда. В углу у Карамычева коечку застлать товарищу чистым, полотенец... Пусть отдыхает. Расход ему вечером принесешь — покушает.

Мороз протянул старику руку. Старик засуетился с костылями, хотел встать.

— Сиди, сиди,— остановил его старшина.— Может, обойдется... Как суд решит...

— Булды,— кивнул старик и приставил костыли к стене.

Старик расположился на Богдановой койке. Сейчас он рылся в своем вещмешке.

— Не мешаю? — буркнул Костя.

Старик не понял вопроса, достал из мешка большой белый платок, расстелил его на полу. Костя подобрал ноги. Старик снял халат, под халатом был пиджак с медалями.

Встав коленями на платок, старик стоймя поставил на тумбочку папаху, сложил перед собой на груди руки, закрыл глаза и сказал, как в кино:

— Аллаху акбар...

И начал тихо стонать по-своему — молился.

В промежутках между бормотаниями он проводил руками по лицу и груди. Медали на пиджаке позвякивали, когда он нагибался.

— Аллаху акбар,— сказал старик и со скрипом стал подниматься. Потом стащил на пол матрац и лег на него, укрывши голову платком. И тут же захрапел.

Костя принес из каптерки свою шинель и набросил на старика.

Заложив руки за спину, Мороз медленно брел по бетонке, Костя плелся за ним.

— Чего ты все ноешь?! — обернулся к нему старшина, хотя Костя молчал.— Русский язык не понимаешь! Сказано: ступай в роту.

— Билеты у нас... Мне домой...

— Домой!..— прошипел Мороз.— Ты ж на поверке торчал, дурень!.. Сводку в штаб дивизии послали, кто участвовал... пофамильно... Губарь-то помер!

— Не я же! — простонал Костя.

— А кто? Дед пихто?

Мороз остановился у входа в казарму, поднял с земли вырванную дверь. Костя дернулся помочь.

— Не лезь! — Мороз прислонил дверь к стене казармы.— Все равно не поедешь! Пока то-се... Кто губаря, кто закоперщик... Ицкович-то поумней тебя, не светился. Так что билет свой Бурмистрову отдай, он пошлет кого, хоть деньги получишь.

— А Ицкович?

— А Ицкович пусть едет.

— Фишель?! — ахнул Костя.— Так ведь это же он...

— Что он? — Мороз обернулся.

— Он... губаря...

«Характеристика на военного строителя Карамычева К. М., год призыва — 1968 (июнь), русский, б/п, 1949 года рождения.

За время службы в N-ском ВСО военный строитель рядовой Карамычев К. М. проявил себя как инициативный, исполнительный, выполняющий все уставные требования воин. За отличный труд, высокую воинскую и производственную дисциплину рядовому Карамычеву К. М. было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Был назначен командиром отделения.

Карамычев принимал активное участие в общественной жизни роты, являлся редактором «боевого листка» и членом совета библитеки N-ского ВСО.

Военный строитель рядовой Карамычев К. М. пользовался авторитетом среди товарищей, морально устойчив, политически грамотен.

Характеристика дана для представления в Московский университет.

Командир подразделения: Дощинин, 1 апреля 1970 года.

«Согласен». ВРИО командир ВСО: Лысодор, 2 апреля 1970 года».

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный либо, наоборот, слишком претенциозный стиль, которым я когда-то записывал результаты своих эсперименотов, совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах. И думаю, что естественное и полное недоверие, которым будет встречен этот рассказ,— а коли он не вызовет доверия, то не вызовет и интереса, поскольку интересен может быть именно и только абсолютной достоверностью и точностью,— думаю, что недоверие со стороны читателей — если после всего случившегося они когда-нибудь снова появятся — полностью уничтожит тот практический эффект, которого я хотел бы достичь.

Великие проповедники, сумевшие увлечь народ, несомненно обладали великими же литературными дарованиями. Евангелисты не много сделали бы для распространения истины, открывшейся Христу, не будь они гениальными писателями. К сожалению, столь же часто, если не чаще, дар слова бывал отпущен и злодеям, и шарлатанам, и недальновидным, ограниченным глупцам, жаждущим общего блага. Последние бывали даже более опасны, чем заурядные негодяи,— наркотик тем более ужасен, чем естественней он включает-

ся в обмен веществ, особенно если и употребление его приятно.

Впрочем, об этом еще будет случай здесь порассуждать. Ведь то, что есть предмет моего рассказа,— не более чем реальная иллюстрация высказанной мысли.

Они явились прямо в институт.

В лаборатории зазвонил телефон, я снял трубку и услышал голос начальника отдела кадров — сварливый голос в сущности уже довольно беззлобного вдового старика, чьи наивные хитрости и интриги давно побледнели рядом с элегантным людоедством моих молодых и ученых коллег.

— Юра,— обратился он ко мне «на ты» по праву старшего,— зайди ко мне, пожалуйста.

— Попозже,— довольно небрежно ответил я. Идти через все здание не хотелось, к тому же на столе лежала куча неподписанных таблиц, а до обеда я решил обязательно полностью с ними разделаться. Старик же для меня давно не представлял никакой власти, даже по части характеристики: надо будет — так и без его благоволения подпишу и поеду... Но голос Аверьяна Павловича стал одновременно и тверд, и искателен почему-то:

— Зайди, я тебя ведь прошу. Сейчас зайди, слышишь?

Выражаясь гораздо более энергично, чем того заслуживала ситуация и чем принято при дамах — правда, у нас в институте, как и во многих такого рода заведениях, уже давно было принято и при дамах,— я отправился в кадры. Я вылез из-за стола, выскочил из лаборатории, слетел по короткой лестнице на пол-этажа и понесся по длинному коридору. Грязно-бирюзовые присутственные стены, вечно мигающие полусломанные лампы дневного света и архаические ковровые

дорожки, застеленные полотном с грязными следами, придавали нашему институту вид самой что ни на есть заштатной конторы из глухо провинциальных. А между тем это был академический институт, и иностранные делегации изумлялись, не умея совместить проблемы, которыми мы занимались, имена и степени сотрудников с интерьерами институтских коридоров, а особенно буфета и уборных. Сортиры у нас были выдающиеся даже по отечественным меркам.

В кабинете у Аверьяна из-за гигантского сейфа мне навстречу поднялись со стульев двое. Один из них шагнул вперед и удивительно ловко произвел сразу несколько движений: правую руку он протянул для пожатия, на которое я машинально ответил, левой откуда-то вытащил и, развернув, на мгновение близко поднес к моему лицу довольно большое удостоверение, в котором я не успел прочесть ни имени-отчества, ни фамилии, ни должности — ничего, только организацию, тут же удостоверение спрятал и, не отпуская правой моей руки, своей левой повел в сторону товарища, невнятно назвав его, одновременно стал сам садиться, потянув и меня книзу, так что и я оказался на стуле. Тут же сел и второй, и вдвоем они образовали как бы коротенький полукруг, в фокусе которого сидел я.

Аверьяна, когда я оглянулся, в кабинете уже не было. Только валялись на его столе какие-то приказы да стояла полуоткрытая жестяная коробочка со штемпельной подушечкой.

Я почувствовал, что лицо мое обрело давно не посещавшее его выражение. Мол, что ж тут такого, ничего особенного, мы люди опытные, понимаем все насквозь, и в визите таком нет ничего удивительного, дело естественное и даже необходимое, хотя, конечно, и не без комического оттенка... Примерно такое выражение: ну, ребята, давайте послушаем, чего вы расскажете...

— Юрий Ильич,— сказал, непрестанно улыбаясь, тот, что пожимал руку,— ну, пришли мы послушать, что вы нам расскажете.

Вопрос был удивительно прям и в то же время абсолютно бессмыслен. Поэтому мне и думать не пришлось, чтобы ответить.

— А, собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше не расслышал... и товарища вашего...

— Игорь Васильевич! Это я виноват, голос у меня тихий да и дикция не очень... Игорь Васильевич я. Простите уж нас, что отрываем... А это вот, прошу любить и жаловать, молодой наш товарищ, начинающий, можно сказать, стажер, я-то уж давно, а он начинает только. Сергей Иванович, его и без отчества можно, молодой еще, а мы думали-думали, к кому бы нам обратиться, и вот решили к вам, вы понимаете, мы, конечно, сначала всё узнали, о вас все, Юрий Ильич, исключительно с уважением отзываются, мы бы к другому еще раз пять подумали, прежде чем обратиться...

— И совсем бы, наверное, не обратились,— вставил Сергей Иванович. Игорь Васильевич заткнулся и вдруг отчаянно захохотал.

— Ха-ха-ха, ох, насмешил Сергей, ох... И, конечно, ведь он прав, Юрий Ильич, и совсем бы не обратились, но вас здесь все в институте исключительно уважают, и руководство, и так, знаете, рядовые товарищи, исключительно хорошие отзывы, и как специалист, и по-человечески, а нам ведь тоже не хочется к кому попало обращаться, люди, вы знаете, Юрий Ильич, разные есть, одного спросишь, а он и не знает ничего... Вы курите? Закуривайте.

Тут мы все втроем дружно закурили, причем они довольно долго рассматривали мою пачку сигарет и, переглядываясь, качали головами, так что и я внимательно ее осмотрел, прежде чем спрятать, но ничего не увидел.

— Юрий Ильич,— сказал, сделав серьезное лицо, молодой Сергей Иванович,— ну, мы пришли послушать, что вы нам расскажете.

— А, собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше... Сергей...

— Иванович. Вы имена плохо запоминаете? Вот и Игорь Васильевич наш тоже... скажешь ему имя-отчество, а он тут же забыл. Как, говорит, имя-отчество этого, что ты докладывал, Сергей? Я говорю — ну, как же вы не помните, Игорь Васильевич, Джеймс Фрэнклин Лопатофф, а он говорит...

— Бывает, это бывает, Юрий Ильич,— перебил молодого Игорь Васильевич.— Но мы-то пришли послушать, что вы нам расскажете.

— Да, собственно говоря, о чем же я рассказать могу? Игорь...

— Васильевич. Это так уж у нас в роду и велось: я Игорь Васильевич, а отец мой Василий Игоревич был. А дед — опять Игорь Васильевич...

— А меня в честь Есенина мать назвала,— тут же влез молодой. Мы снова все вместе закурили.

— Да,— сказал Игорь Васильевич, выпуская дым в сторону и отмахивая его рукой,— это вы, конечно, Юрий Ильич, просто из скромности на себя наговариваете.

— Что именно? — от третьей подряд сигареты во рту у меня было отвратительно кисло.

— Да вот, что у вас таланта литературного нет и тому подобное. Я ведь, вы сами понимаете, по службе все, что вы пишете, читал, но я, конечно, не специалист, так ведь и от специалистов слышал, что исключительный у вас литературный талант и язык очень богатый, правда, Сергей? Вот Сергей не даст соврать, он у нас исключительно честный, но тоже скажет, что не только в вашем институте, а, может, и во всей Москве сейчас такого языка богатого ни у кого нет. И со стороны ру-

ководства о вашем языке самые положительные отзывы, и рядовые сотрудники очень уважают...

— Ну, при чем наш институт? — возразил я, потянувшись было за сигаретой, но раздумал.— Что у нас в институте в языке понимают? Институт-то ведь не литературы же и не русского языка...

— Нет, нет! — закричал Игорь Васильевич и весь подался на стуле вперед, так что пиджак его распахнулся, но он его немедленно запахнул.— Нет, и в институте, и вообще понимают, вы будьте уверены, ценят вас и знают, кому положено, конечно. Вот я вам такой пример приведу: написали вы, допустим...

— Ну, что? — перебил я, потому что он меня уже довел этой пустой и полуграмотной лестью.— Ну, что я написал? Рассуждение о связи между сущностью учения и формой проповеди? Или насчет иллюзий справедливости? И то, и другое — самым сухим, самым казенным стилем...

— Ну, не только,— коротко буркнул Сергей Иванович и даже вроде обиделся по-детски.

— Правильно,— согнав постоянную улыбку, поддержал Игорь Васильевич.— Правильно Сергей говорит: именно не только, Юрий Ильич! Разве вы не можете написать высокохудожественно? Еще как можете. Если захотите нам помочь. Мы ведь думаем, что вы захотите нам помочь, правильно? Мы же вас не заставляем, Юрий Ильич, мы только просим: напишите. Вы же, наверное, не догадываетесь, а нам точно известно: такой поток серости идет сейчас в нашу отечественную литературу, такой поток!.. Ужас. А вы нам очень могли бы помочь.

— Нет, ребята,— сказал я и закурил.— Не понимаю, чем я все-таки могу вам помочь. Совершенно не понимаю. Мало того, что я чутья к слову не имею, я совершенно не умею выдумывать. Я считаю фантазию для порядочного экспериментатора абсолютно неприем-

лемым качеством и никогда ничего и ни о ком выдумывать не буду...

— Вы нас обижаете,— сказал Сергей Иванович,— честное слово. Да разве мы вас просим выдумывать? Нам и в голову бы не пришло вас об этом просить...

— И в голову бы не пришло,— сказал Игорь Васильевич,— вы нас обижаете просто. У нас совершенно и редакция другая, мы фантазиями или, как вы говорите, выдумками вообще не занимаемся. Это у вас просто представление такое: раз мы, значит, фантазия, беллетристика, романы, ночные бдения, трагедии, как при Бальзаке...

— Или даже при Достоевском каком-нибудь,— добавил Сергей Иванович и чуть улыбнулся.— Преступление и наказание прямо. Это все уже давно прошло, Юрий Ильич, сейчас исключительно документальное всех интересует.

— Время другое,— серьезно закончил Игорь Васильевич.

— Но о чем же я могу написать?! — тут и я засмеялся. Со стороны мы были, конечно, похожи на совершенно одинаковых людей, коллеги-литераторы беседуют. «Я уже вполне усвоил их тон», — с ужасом подумал я.— Ну, написать о нашей беседе, например? В лицах...

— Обязательно! — закричали они хором и, немедленно встав, кинулись пожимать мне руки.— У вас прекрасно получится. А мы уж позвоним, вы извините, как только напишете, так и позвоним... Счастливо вам! Прямо так и давайте, странички четыре-пять, на машинке, через два интервала, поля стандартные. Так и пишите: дескать, они явились прямо в институт, и так далее. А потом переходите сразу к главному: ночь, улица, фонарь, аптека, ну, и так далее. Улицу-то знаете?

— Знаю, знаю,— отвечал я, пожимая руки.

— Ну, так и пишите: улица такая-то, почтовый ин-

декс, если в центре, не обязательно... еще раз пожелаем всего хорошего!

— Давайте я вам пропуск подпишу,— сказал Сергей Иванович строго.

Игорь Васильевич высоко, до хруста заломил мне руку за спину и несильным пинком вытолкнул меня в институтский коридор. В коридоре было пусто, и только в дальнем конце светилась одна — ночная, дежурная — лампочка.

Ледяной ветер нес снег зигзагами, и белые струи, словно указывая мне путь, поворачивали с Грузин на Тверскую. Где-то в стороне Масловки стучали очереди — похоже, что бил крупнокалиберный с бэтээра. Я вытащил из-под куртки транзистор и ненадолго — батарейки уже и так катастрофически сели — включил его. «Вчера в Кремле,— сказал диктор,— начал работу Первый Чрезвычайный Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий. В работе съезда принимают участие делегаты от всех политических партий России. В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации — Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также Левых коммунистов Сибири (Иркутск). В первый день работы съезда с докладом выступил секретарь-президент Подготовительного Комитета генерал Виктор Андреевич Панаев. Московское время — ноль часов три минуты. Продолжаем передачу новостей. Вчера в Персидском заливе неопознанные самолеты подвергли очередной ядерной бомбардировке караван мирных судов, принадлежащих Соединенным Штатам Америки. Корабли шли под нейтральным польским флагом, но это

не остановило клерикал-фашистов. Мировая общественность горячо поддерживает миролюбивые усилия...»

Я выключил приемник и двинулся по Тверской. По обе стороны широкой, ярко освещенной луной улицы брели люди. По одному, по двое они шли от Брестского вокзала вниз, к центру. Все несли сумки, у многих за плечами были маленькие тощие рюкзаки — последняя предвоенная мода. И полы многих шуб, курток, пальто так же оттопыривались, как и у меня, а кое-кто нес «калашников» и вовсе — по ночному времени — открыто. Светила луна, и под ее светом ползли, извиваясь, серебряные нити снега, и время от времени нарастал шум и проносился по самой середине мостовой легкий танк или, грохоча проржавевшими дырявыми крыльями, полузадохшаяся «Волга», и шли по тротуарам люди — и легкий гул разговоров шепотом, дыхания, шарканья шагов стоял на улице.

Я вспомнил, как когда-то, давным-давно, а если точнее — ровно десять лет назад — я уже шел по ночной Тверской, тогда еще Горького, и цель моего путешествия была почти такая же, что и сейчас. Мне должно было исполниться сорок лет, было позвано огромное количество гостей, была уже куплена водка, еще продавалась она совершенно свободно, и никто не опасался попасть в очереди у винного в облаву истребительного отряда угловцев, но вот не хватало нам с женой, видите ли, деликатесов к юбилейному столу. Нам казалось, что с продуктами в магазинах плохо, что на стол нечего поставить, что для того, чтобы достать еду, надо слишком много хлопотать... И мы решили сделать ресторанный заказ. И, проклиная наш постоянный дефицит всего, я шел по ночной улице в кулинарию этот самый заказ делать. У той знаменитой кулинарии с аналогичной целью собиралась большая очередь задолго до открытия. И как же я тогда возмущался! «Ночью! Очередь! За продуктами!» А в заказе

чего только не было — кажется, даже мясо... Или масло... уже не помню. Может, этого не было ничего. Может, мне приснилось это такой же лунной ледяной ночью, когда так же змеился по мертвому городу снег и так же трещали пулеметные очереди — мне приснились эти судки, и блюда, и что-то жареное, горячее, и обжигающий глоток водки, и запах кофе, и гости, входящие без оружия, нарядные гости в целой одежде...

Впереди, где-то у Страстной, грохнул взрыв. И улица мгновенно опустела — только последние тени задрожали у стен и исчезли, влившись в подъезды и подворотни. Я вильнул за угол, кинулся к знакомой двери — это был старинный дом, где прошло мое детство,— снова одно из тех многих совпадений, которым мы уже перестали удивляться в эти ночи. Дверь была, конечно, заколочена. Я рванул с шеи автомат, повернул и примкнул штык, подковырнул им доску...

В подъезде я был не один.

— Только стрелять не вздумай,— сказал хриплый голос, по которому не сразу угадалась женщина.— Ты на площадь?

— Ну, допустим,— ответил я осторожно.— Вы... вы где? Я не вижу здесь...

— Москвич,— вздохнула женщина, и мои глаза, притерпевшись, нащупали ее силуэт. Она стояла на площадке между первым и вторым этажами и выделялась на фоне сизого прямоугольника окна.— По выговору слышно — москвич. А я с Днепропетровска, как он теперь?.. С Катеринослава, ага. Вот приехала. А ты не знаешь, шо у вас тут, в этой Москве, можно достать какой-нибудь обуви или нема? Одна суета...

— Не знаю,— ответил я гораздо суше, чем даже хотел.— Я не интересуюсь обувью.

— А шо ж вас интересует? — перешла «на вы» женщина. Она спустилась по лестнице, подошла поближе.— Прикурить у вас будет?

Я прислонил автомат к стене, достал зажигалку, чиркнул. Огонек осветил склоненное женское лицо, сигарету, пальцы...

— Ой, спасибо,— сказала женщина, выпустив дым первой затяжки. Огонек зажигалки еще дрожал. Снизу, от моих ладоней, женщина подняла на меня подсвеченные им глаза. Именно такое лицо я и ожидал увидеть — сколько уже видел я их, этих южных красавиц, налетавших в столицу еще в те полузабытые времена, когда стояли они в очередях за сапогами, не рискуя налететь на выстрелы веером из подворотни напротив, на жестокую проверку Комиссии, на толпу одурелых двенадцатилетних бензинщиков... Сколько раз обманывался этими сухими, точно и тонко прорисованными лицами, сколько раз попадался на эту комбинацию панночки и модели из хорошего журнала!..

И снова во тьме после сникшего огонька зажигалки поплыло передо мной это вечное лицо захватчицы — прямой короткий нос, обтянутые скулы, широко раскрытые, серьезные и ласковые глаза.

— И шо ж сегодня на той площади будет? — задумчиво, как бы сама у себя, спросила приезжая.— Надо сходить...

— Сегодня понедельник,— сказал я. Магия уже действовала, и вся моя доброжелательность вместе с так и не пропавшим бахвальством осведомленного московита пришли в движение, ринулись навстречу этому невидимому лику обмана.— По понедельникам там многое бывает. Можем пойти вместе...

— А можно и вместе...— с легким и так складно ложащимся на комический напев ее фраз смешком начала женщина, но договорить не смогла. За дверью, прямо в переулке, прошумел автомобильный мотор, грохнуло и зазвенело, и тут же — топот многих бегущих, крики: «Куда?! Стой, стой, сука!.. Ворюга! Торгаш!.. Стой!» Мгновенно схватив автомат, я поймал в

темноте женщину за рукав — рукав был скользкий, кожаный — и взлетел вместе с нею на этаж.

— Вот, дверь вы открыли, теперь до нас кинутся,— задыхаясь, прошептала женщина. Здесь, на площадке, окно выходило прямо в переулок. В его синем свечении лицо женщины потеряло почти все от фотомодели и стало совсем ведьмачьим. Я отодвинул ее в простенок, перехватил автомат поудобнее и осторожно придвинулся к стеклу.

В переулке я увидел человек восемь. Насколько можно было разобрать, все они были в военном, в десантных бушлатах, в беретах, стоявших лихо торчком, но по разномастной обуви и брюкам было ясно, что это не регулярные части.

— Афган...— севшим от увиденного голосом шепнул я женщине и не расслышал ее ответа — то, что происходило в переулке, оглушило меня, и смотреть я не хотел, и смотрел, не отрываясь.

Поперек переулка лежала перевернутая набок машина — кажется, старенький «мерседес». Судя по развороченному перед нею асфальту, перевернуло ее взрывом гранаты, который мы слышали. Вокруг этой машины и суетились люди в беретах. Через оказавшуюся открытой сверху дверь они вытаскивали какого-то человека. Похоже было, что человек не особенно пострадал — во всяком случае, он и сам старался вылезти и одновременно вырывался из тащивших его рук... Его вытащили, двое держали его за локти, отведя чуть в сторону. Следом из этой же двери вытащили женщину. Ее тащили, как мертвую,— она висла на руках, складывалась, голова без шапки и платка моталась. Вытащили и ее, посадили, прислонив к багажнику... Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка, к ним подошел третий, держа на весу, низко, на вытянутых руках тяжелый пулемет. Двое шагнули в стороны, мгновенно растянув ру-

ки мужчины крестом, третий, не поднимая пулемета, упер его ствол в низ живота распятого, ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды... Женщина сползла вдоль багажника и легла на мостовую, будто устроилась спать — подтянув ноги калачиком.

Через мгновение убийц в переулке уже не было.

— Та шо ж такое, шо ж это такое?! — услышал я и снова обнаружил женщину, глядящую рядом со мной в окно.— Шо ж оно творится в вашей Москве, шоб она уже сгорела!..

— Надо уходить отсюда,— сказал я.— Через пятнадцать минут здесь будет Комиссия, они начнут обыскивать подъезды и чердаки, нам конец...

— Какая еще комиссия,— женщина, плача, упиралась, я тащил ее с лестницы,— какая комиссия, поубивают тут, в той Москве!..

— Комиссия Национальной Безопасности, неужели вы и этого не знаете? — бормотал я на ходу.— Идемте, идемте быстрей!

Мы приоткрыли дверь, но было уже поздно. С двух сторон в переулок въехали машины — полицейский микроавтобус и черная «Волга» с красным мигающим огнем на крыше. Вспыхнули фары, захлопали дверцы, люди в серой полицейской форме и в штатских куртках выскочили и выстроились двумя цепями, перекрыв перекрестки. Я прикрыл дверь. Автомат в моей руке блеснул в проникающем с улицы свете все еще примкнутым штыком...

— Все,— сказал я.— Все, сейчас они пойдут по домам...

Женщина молчала, было слышно только ее дыхание, громкое дыхание потерявшего себя человека.

— Погодите,— я сказал это слишком громко и вздрогнул.— Погодите! А как вы попали сюда? Дверь же была забита...

— Да есть же там сзади другая.— Женщина вспомнила, рванулась, и я, не выпуская ее кожаного рукава, рванулся за ней. Как же я забыл этот черный ход?! Хотя, кажется, раньше он был заперт...

Мы оказались во дворе — собственно, это был даже и не двор, а просто другая улица, но здесь стояли железные помойные ящики, чернел остов давно разбитой машины — это была изнанка некогда шикарного дома, выходящего на Тверскую. Снег здесь не полз под ветром, не змеился — он уже лежал, скопившись невысокими волнами первых сугробов с наветренной стороны помоек и ящиков. У одного из подъездов богатого дома маячила фигура — человек в красной нейлоновой куртке шагал у подъезда взад и вперед, как часовой. Мы прошли близко, я увидел молодое лицо, совершенно седые длинные волосы бесполого существа, услышал бормотание: «Она выйдет — а я тут. Она выйдет — а я тут! Она выйдет — а я...»

Я вспомнил, что в этом подъезде жила некогда знаменитая певица, здесь всегда толпились безумные поклонники. Этот сумасшедший, похоже, бродил здесь с тех самых пор. Может, он и не знал, что кумир его давно уже поет для пассажиров парома, возящего в основном футбольных болельщиков между Англией и Данией. Однажды какой-то буйный бритт швырнул в нее банкой из-под пива — он был огорчен проигрышем ливерпульцев. Би-Би-Си передавало об этом с глумливым сочувствием...

Мы уже шли по Садовой. Сзади остались черные руины «Пекина», миновать их удалось, к счастью, без приключений. С тех пор как гостиница рухнула во время артиллерийских боев, развалины были облюбованы подмосковными анархистами. Все лето здесь висела выцветшая тряпка с надписью «Да здравствуют Люберцы, долой Москву!», а однажды утром я видел, как красная кирпичная пыль, выдуваемая июньским

ветром, ложилась на мертвеца, висящего в пустом оконном проеме третьего уцелевшего этажа. Это был парень из московских в своей униформе — черной кожаной куртке. Черная же кожаная фуражка сползла ему на лицо. Он висел на блестящей стальной цепи — так обитатели «Пекина» обозначили свое отвращение к его символу веры, к металлу. Шипы на браслетах, нелепо забинтовавших его вылезшие из рукавов запястья, блестели при свете китайских ресторанных фонариков. Пригородные палачи притащили их откуда-то и повесили в окне по обе стороны казненного. Они даже умудрились их включить, и бледный цветной свет был страшен утром.

— ...А у меня мужа убили еще в запрошлом годе,— продолжала женщина свой бесконечный рассказ.— Хороший был мужик, руки на месте, всем нашим с Красного Камня — это ж у нас район такой в городе — машины ремонтировал, а они ж его и убили... Прямо на сервисе и убили, монтировкой вдарили, деньги — сколько тех денег было, может, тысяча старыми еще, «горбатыми», — так они взяли и ушли. Соседи...

Я промолчал. Сколько уже слышал я этих историй — и просто в очередях, и от очевидцев, а вот теперь и от пострадавшей... Мне не жаль было ее умельца мужа, для которого тысяча «горбатых» — как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь недельный хлебный паек,— была не деньги. Не жаль было и ее, которая сейчас с сотней, а то и двумя этих тысяч приехала «по обувь» и, вспоминая мужа, тащится со мною ночью на площадь. Мне даже и того парня-металлиста, что висел, поблескивая шипастыми браслетами, было не жалко. Жалко мне почему-то было нелепой гостиницы со шпилем...

Мимо знаменитого дома с нехорошей квартирой, у подворотни которого дежурили пикеты с нарукавными повязками «свиты сатаны» и в кошачьих масках, мимо

Патриарших, по периметру которых медленно ехал полицейский патрульный танк, скользя прожекторным лучом по фасадам, окружающим пруд, мимо какого-то посольства, обложенного мешками с песком, над которым возвышались голубые каски китайцев из ооновского батальона, мы вышли на Спиридоновку.

— ...И вот я вас хочу спросить, а у вас нема, случайно, конечно, новых талонов? — женщина заглянула мне в глаза сбоку, и снова в синем сиянии луны ее лицо мгновенно проделало путь превращений от рекламы какого-нибудь довоенного шампуня из полузабытой «Бурды» до панночки дьявольской.— А я б у вас покупила б один к ста или как тут в Москве дают? Очень мне обуви надо...

— К сожалению,— я остановился. Только теперь я заметил, что так и тащу на виду автомат с примкнутым штыком. Складывая и убирая «калашникова» под куртку, я повторил: — К сожалению... у меня есть совсем немного... только на сегодня... впрочем... если на площади ничего, за чем я иду, не будет, я могу вам отдать по обычному курсу, один к восьмидесяти... на следующей неделе я должен получить еще немного... так что, если хотите...

— Вот же спасибо! — она сразу забыла все свои давние горести и страхи этой ночи.— Вот же спасибо вам! Так я с вами уж, конечно, до самой площади и пойду. А можем, если хочете, вот и на лавочке тут посидеть... пока ж рано?

Слева от нас был маленький сквер возле какого-то дома из старых функционерских. Пустая милицейская будка с выбитыми стеклами темнела на краю сквера. Я взглянул на часы на столбе — было без четверти два. На площади я собирался быть около пяти.

— Что ж... давайте посидим, покурим.

Мы разыскали в темноте полусломанную скамейку, сели, закурили. У нее была, конечно, настоящая «ява»,

я свернул свою, от протянутой ею пачки отказался — много лет я уже не принимал никакого угощения. Мы затянулись, я достал транзистор — минут пять можно было себе позволить послушать новости, тем более что к концу месяца батарейки обязательно должна была получить жена через очередную помощь «Иносемьи». Ее парижская родня самим своим существованием давала нам возможность и кормиться по талонам, и получать иногда нормальную одежду, обувь, батарейки — правительство не хотело терять тех, кто мог хотя бы когда-нибудь ввезти в страну и настоящие деньги... Транзистор щелкнул и захрипел.

«...столица Эстонской Республики. Здравствуйт-те, дорогие русские друзья! Передаем новости. Вчера в лагере для интернированных граждан России произошли беспорядки. Федеральная полиция приняла меры. В парламенте Прибалтийской Федерации депутат от Кенигсберга господин Чернов сделал запрос...»

Я крутил настройку: от «Прибалтийского голоса свободы» точного времени лишний раз не дождешься.

«...в Крыму. Так называемое симферопольское правительство дает приют отребью, бежавшему на остров. Бандиты из пресловутой Революционной Российской Армии готовятся к вторжению в нашу страну. Всеобщее возмущение прогрессивной интеллигенции демократических стран вызывает в этой связи позиция печально известного сочинителя Аксенова, благословившего своей последней бездарной книжонкой «Материк Сибирь» кровавый мятеж азиатских повстанцев, продолжающих зверствовать в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе. По сведениям газеты американских коммунистов «Вашингтон пост», недавно этот якобы русский писатель был принят верховным муфтием всех татар Крыма...»

Я выключил — батарейки садились, а время говорить, видно, не собирались. Теперь они говорят время

все реже, чтобы заставить побольше слушать всякую чушь.

— Ото ж сволочи! — убежденно сказала моя спутница и швырнула окурок в кусты. И тут же без всякой видимой связи спросила: — А у вас, конечно, извиняюсь, талоны откуда? Может, за границей кто есть или как?

Черт его знает, сколько мне еще пришлось бы пережить переворотов, чтобы отучиться от этой даже не привычки — порока: полной, полнейшей беспомощности перед этими, перед захватчицами!

Я не сказал о родственниках жены.

— Да так... на работе,— бормотал я, выключая транзистор и пряча его во внутренний карман.— Нам платят так...

— А где же вы работаете? — она говорила все тише, теперь она шептала, хотя недавно, когда было опасно молчать, она голосила вовсю.— А где, а? Извиняюсь, конечно...

Мы уже сидели, обнявшись. Автомат резал ремнем шею и давил и мне, и ей на грудь, я стащил его и положил рядом на скамейку. Она просунула руки под мою куртку.

— Замерзла... вот же ж лавка холодная, ты смотри — на ней же мороз...

Я действительно увидел на лавке, на ее выпуклых планках, иней... Ее кожаное пальто свесилось полой, пола слегка дергалась и мела по снегу...

— Ну... ты не сказал...— ее акцент сейчас был почти незаметен, и слова она уже не пела, а выдыхала.— Не сказал... где... где ты работаешь...

Я сел, снова свернул листок с табаком, чиркнул зажигалкой. Она поправляла волосы, знобясь, застегивая пальто.

— Где, а?

— Ну... в газете,— буркнул я. Я был уже учен и

давно не говорил без крайней надобности, где я служу. Тут же спохватился: она могла и знать, что в редакциях талонами не платят...

Но она не знала.

Когда я поднял глаза, она стояла передо мной, и ствол моего автомата был направлен мне прямо в лоб.

— Сучка,— сказала она,— сучка, говно. Давай сюда талоны твои сраные, журналист хренов! Ото из-за таких гнид началось все! Жили, как люди, все было нормально, мужик по шесть тыщ «горбатых» за хороший день зароблял, а вам все было плохо! Завидущие твари! Леонид Ильич вам плохой был, а у нас при нем в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была!.. Сталин вам был плохой, Брежнев вам был плохой, вам Горбачев угодил!.. Давай талоны и иди отсюда, а то убью интеллигента московского, вот точно — убью!

Я медленно привстал со скамейки, и она с коротким визгом отскочила подальше, вскинула ствол...

— Тише...— я полез во внутренний карман. Я бы охотно отдал ей эту сотню талонов, но вовсе не был уверен, что после этого она с перепугу не разрядит в меня рожок. И в мирные времена эти не слишком были милосердны...— Тише... сейчас я отдам тебе эти поганые талоны... только не стреляй, дура... тебя же Комиссия сразу возьмет... сейчас...

Можно было, конечно, упасть плашмя, рвануть ее за ноги в скользких полусапогах — и ничего бы она не успела, подумаешь, террористка... Но одно она могла бы успеть: выпустить очередь над моей головой, а здесь, среди этих обреченных домов, шум был почти так же убийствен, как и пуля.

Я уже готов был вытащить из кармана руку с талонами, когда в дальнем конце улицы раздался рев моторов. Вот уже показался передний танк — легкий, десантный, следом одна бээмпэ, другая, грузовик под

брезентом и танк замыкающим... На Спиридоновке начиналась очередная ночь.

Она оглянулась на шум. В тот же момент я резко рванулся к ней, правой рукой зажал сзади ей рот, левой, крутнув в запястье, вывернул ее правую лежавшую на спуске автомата — сильно сжав, чтобы, не дай Бог, не успела нажать. И вместе с ней рухнул наземь, за кусты сквера.

Теперь они позвонили домой.

Я собирался в институт, жена готовила завтрак, и приемник на кухонном столе бормотал беспрерывно — она включала его на все утро. «...Быстроходные катера в Персидском заливе... продолжается выдвижение делегатов... письма наших слушателей подтверждают — альтернативы перестройке нет... Всесоюзная девятнадцатая... а вот мнение академика Татьяны Заславской...»

Я снял трубку.

— Это Сергей Иванович,— услышал я радостный голос стажера.— Только вы вслух не повторяйте, Юрий Ильич, а то жена... Здравствуйте.

— Здравствуйте,— сказал я с омерзением и отчаянием. Значит, это еще будет продолжаться! И кончится ли?..

— Очень надо! — радостно сообщил Сергей Иванович.— Очень надо встретиться! Вы же ведь уже написали? Вот и хорошо. Только в институте уже неудобно, Юрий Ильич. Так что вы приходите лучше к гостинице, Юрий Ильич, ага, к «Интуристу». Так точно, четырнадцать часов, Юрий Ильич. Ну, до свиданья, Юрий Ильич, Юрий Ильич, Юрий Ильич...

— До свиданья.

Я швырнул трубку.

— Кто это? — спросила жена.

— По делам,— сказал я, и тут же ужаснулся: зна-

чит, я уже выполняю их указания, скрываю от жены.— По делам, из вестника...

У интуристовского подъезда меня ждал один Сергей Иванович, стажер. Как и положено, он был на посылках. Молча обменялись рукопожатием, молча ехали в лифте в толпе гогочущих и перекликающихся, как в лесу, немцев. Бабка в линялых джинсах, с сиреневой завивкой с доброжелательнейшим интересом разглядывала Сергея Ивановича. Я посмотрел на него ее глазами: нечто пухлощекое, пухлогубое, чубастое — на гигантском теле девяностакилограммового мужика. Она могла нас принять за отца с сыном — впрочем, одет по-сыновнему был я, на нем был приличненький универмаговский костюм с галстуком.

Игорь Васильевич встретил нас в номере радостными рукопожатиями и штатной улыбкой. Теперь я попытался и его портрет сформулировать: получилось нечто среднее между невзрачным современным киногероем и человеком с плаката по технике безопасности. Но улыбка у него была хорошая...

— Как путешествовалось, Юрий Ильич? — улыбаясь этой прекрасной улыбкой, морщившей все лицо, Игорь Васильевич двумя руками потряс мою руку и немедленно усадил в кресло у журнального столика, сам сел напротив, а Сергей Иванович пристроился на краю кровати. Номер был полуприбран, как при смене постояльцев. На столик тут же водрузилась пепельница, и мы, как водится, закурили разом.— Довольны экскурсией?

— Ну,— замялся я,— сами понимаете... интересно, конечно...

— Я думаю,— немедленно перебил Игорь Васильевич,— это ж надо: девяносто третий!

— Я сам всю жизнь мечтал,— вставил и Сергей Иванович,— как Гюго прочитал, так и возникло желание: обязательно девяносто третий. Некоторые хотят,

например, две тысячи какой-нибудь, а я почему-то именно в этот самый девяносто третий — и все...

— Ну, нам не положено,— с легкой грустью заметил Игорь Васильевич,— это уж вам... Как говорится, и с профессиональной точки зрения. Думаю, у вас в в институте многие хотели бы, да не могут. На полгодика-годик — пожалуйста, а чтобы сразу в другую пятилетку... Ну, это же понятно: у вас способности... Если хотите знать, я уже двадцать лет вашими экспериментами интересуюсь, и вот даже Сергею говорил, не даст соврать: Юрий Ильич, говорю, из экстраполяторов самый в институте способный. Еще вы обычным экстраполятором работали, а я как только в вестнике ваш отчет прочту, так и говорю: обязательно надо бы Юрию Ильичу на пятилетку-другую рвануть! И руководству даже докладывал... Да ведь вы сами понимаете, Юрий Ильич, времена были другие. Кто бы вас тогда на пятилетку вперед отпустил? Считалось — нецелесообразно... Даже однажды — помнишь, Сергей, ты еще только стажером пришел, семнадцать лет назад — требовали, чтобы я на вас, Юрий Ильич, написал субъективку, как говорится — ну, это у нас так называется, мое, значит, субъективное мнение, а я говорю: хотите — пожалуйста, вот я кладу билет на стол, и можете тогда делать, что хотите, только я Юрия Ильича знаю и ручаюсь... Видите, Юрий Ильич, и в те времена у нас тоже разные люди были.

— А здорово вы ее,— неожиданно сказал Сергей Иванович и улыбнулся. В отличие от старшего, он улыбался сдержанно и тонко.— Здорово! Раз — и скрутили. Могла ведь шум поднять! Убить, конечно, не убила бы, а шуму было бы много...

— Так я же всегда говорил,— тут же включился в неожиданно повернувшийся разговор Игорь Васильевич,— всегда говорил, что Юрий Ильич исключительно

смелый человек! Вы же ведь смелый человек, Юрий Ильич?

— Как вам сказать,— я смутился, пожал плечами.— В общем, я действительно в последнее время мало чего боюсь. Семья у меня небольшая, жена — человек самостоятельный, чего мне бояться?

— Вот и я говорю,— согласился Игорь Васильевич.— Вы же и нас не боитесь, правда? Написали все, как будет, ничего не смягчили. Как будет — так и написали. И про интернационалистов, и про молодежь... И правильно! Зачем скрывать, если вы уверены? Нам ведь надо знать чистую правду, если мы правду знать не будем, кто же и предостережет руководство? А руководство надо предостерегать...

— И про наших-то,— Сергей Иванович опять тонко улыбнулся, пухлые его щеки едва заметно дрогнули,— про наших-то... как они на стрельбу-то... примчались... и цепью, цепью... тоже не побоялись сообщить, Юрий Ильич?

— И правильно сделали, что не побоялись! — воскликнул Игорь Васильевич.— Кстати: вы случайно в лицо никого из них не запомнили? А то у нас есть такие факты, что там... некоторые товарищи... ну, в общем, не из наших, а только под наших маскируются... Да что я вам объясняю, вы такую возможность не хуже меня знаете, вы в одном из своих экспериментов ее даже отработали, только в прошлом, конечно...

— В ушедших временах,— уточнил Сергей Иванович,— правильно, Юрий Ильич?

— В общем, да,— вяло согласился я,— только не в ушедших, а в давно ушедших, если вы читали отчет...

— Именно, именно,— согласился Игорь Васильевич,— в давно ушедших. Мы того вашего отчета, правда, не читали...

— Но откуда же Сергей Иванович тогда знает? — удивился я.

— Так вы же сами только что сказали,— удивился и Игорь Васильевич.— Только что: «В общем, да, только не в ушедших, а в давно ушедших...» Правильно, Сергей?

Сергей Иванович кивнул. И тут мне стало нехорошо.

«Они же ни черта не знают сами,— с ужасом понял я,— они же ни черта не знали, пока я сам им все не рассказал, и они могут сколько угодно говорить, что я уже и о последнем путешествии отчет написал, но я ведь точно знаю, что я его еще не писал! И тот, старый отчет они не читали, а уж могли бы прочесть, его только ленивый не читал и в институте, и вообще, он мне, собственно, и сделал известность, если она у меня есть хоть какая-то... Он же даже был отдельным бюллетенем, о нем же даже на конференции докладывали в Риме!.. Они ничего не знали,— повторял я про себя в панике,— они же ничего не знали, я сам им все наговорил, я сам стал им помогать...»

— Вот только зря вы не указали,— сказал Игорь Васильевич,— не встречали ли вы там кого-нибудь из ваших коллег, только... из тех. С той, значит, стороны...

— Да,— подтвердил и Сергей Иванович и стал еще важнее, чем выглядел обычно, очень важный пацан.— Мы ведь чем интересуемся? Мы же ведь женщинами, например, из Днепропетровска или даже ребятами из военно-патриотических объединений не интересуемся, у нас ведь совершенно другое направление.

— Конечно,— продолжал Игорь Васильевич,— только с той стороны! Разве мы стали бы предлагать вам о женщинах или, например, о прохожем каком-нибудь поклоннике, например, популярной певицы... Это ж все наши люди! Нам это не нужно, и мы вас как порядочного человека об этом и не попросим. Но у нас есть данные...

— Совершенно точные,— вставил Сергей Иванович.

— Что имеется их экстраполятор,— продолжал Игорь Васильевич,— который...

— Или которая,— уточнил Сергей Иванович.

— Это Юрию Ильичу все равно,— сморщился в улыбке Игорь Васильевич,— вон он... как ловко... Не жарко было, не раздеваясь-то?

— Как жарко,— буркнул я, уже ничего не соображая,— иней на скамейке...

— Иней! — Игорь Васильевич захохотал.— Ну, что такому мужику иней, а? Ну, вы даете, Юрий Ильич...

— А экстраполятор с той стороны обязательно там должен быть,— Сергей Иванович стал проявлять странную для него самостоятельность и упорство, вовсе не поддержав фривольный разговор.— И вам надлежит войти с ним в контакт, не вызывая подозрений, ни в коем случае не пресекая его действий, а наоборот, пообещать ему помочь, даже если его действия будут направлены на дальнейшую дестабилизацию...

— Ну, Сергей, это уж слишком для Юрия Ильича,— примирительно сказал Игорь Васильевич, увидев, наверное, что лицо мое изменилось.— Это уж слишком... Это уж наша работа, Сергей, ты ее на Юрия Ильича не перекладывай... Вы только не вспугните, Юрий Ильич, только не вспугните...

И я уже оказался стоящим у двери в номер. И, заглядывая мне в глаза и снова тряся обеими руками мою руку, Игорь Васильевич повторял:

— И никто, никогда, ни за что об этом не узнает, поверьте нам, это ж не в наших интересах, вы самый дальний экстраполятор и талант большой, вам надо писать и писать, а если, допустим, мы вас обнаружим, так нам же от руководства и нагорит, потому что теперь мы уж в одной обойме, Юрий Ильич, и вам надо только не вспугнуть, не вспугнуть, не вспугнуть...

Они оцепили дом в одну минуту. Все были в форме, в своей обычной форме, видимо, дело сегодня предстояло настолько рутинное, что нужды в штатской маскировке не было. Только командовали трое в хороших серых пальто и меховых шапках — они вылезли из последней бээмпэ и сразу стали в стороне.

Мы лежали на тонком снегу за кустами, и, еще зажимая ей рот, я прошептал в ухо этой гадине:

— Крикнешь — либо сам тебя убью, либо они возьмут. Они свидетелей не любят. А мне уж тогда все равно. Поняла?

Она кивнула, насколько могла, стиснутая моей рукой. И я отпустил ее — рука уже окоченела, долго лежать так было невозможно. Едва слышно всхлипнув, она повернула ко мне лицо и даже не прошептала — только показала губами: «Прости, Христа ради, прости! Не выдавай! Забудь!»

— Молчи,— шептал я снова ей в ухо.— Лежи молча, не шевелись. Уедут — пойдешь дальше одна. Все.

Она кивнула и сразу же успокоилась — с невероятным интересом она смотрела теперь на то, что происходит возле дома. Я смотрел тоже, хотя то, что там делалось, уже давно не было ни для кого тайной.

Одно отделение вошло в дом. Все окна в доме уже горели — неяркий ночной свет пониженного, как всегда, напряжения казался на темной улице сиянием. Прошло примерно минут двадцать...

И вот дверь подъезда раскрылась, и показались они.

Мужчины были все как один в хороших серых пальто и меховых шапках, в руках они несли плоские чемоданчики. Женщины были в шубах и полушубках из овчины. Дети и подростки шли в куртках, без шапок, в небрежно накинутых капюшонах.

Их было около сотни.

Они вышли из подъезда довольно тихо, и так же

тихо выстроились на мостовой в колонну по четыре — два солдата, слегка подталкивая их, справились с построением буквально за минуту. Из подъезда вышел последний из группы обнаружения. Мгновенно вытащив из полевой сумки огромный висячий замок, он запер двери и побежал к танку, над которым возвышалась радиоантенна, влез в него. Прошло еще две минуты — и во всех окнах дома погас свет, теперь навсегда.

Прыткий солдатик выскочил из танка уже с небольшой табличкой в руках, снова подбежал к подъезду и повесил ее на ручку двери поверх замка. Немедленно после этого один из тех, кто командовал операцией и своей одеждой не отличался от выведенных из дома, прошел в голову колонны и негромко — но в ночном беззвучии было слышно каждое слово — сказал:

— По специальному поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Национальной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер — он взглянул в какую-то бумажку,— номер восемьдесят три по общему плану радикального политического Выравнивания, врагами радикального Выравнивания и, в качестве таковых, несуществующими. Закон о вашем сокращении утвержден на собрании неформальных борцов за Выравнивание Пресненской части.

Машины зарычали и двинулись по краям мостовой, один танк шел впереди, другой замыкающим. Колонна шла посередине...

Через десять минут на улице было пусто и тихо.

— Куда их? — спросила женщина. Она стояла в двух шагах от меня, пытаясь дрожащими руками счистить снег и грязь с кожаного пальто.

— Неужели не знаешь? — мне уже не хотелось да-

же делать вид корректного обращения с этой жлобской бабой, которая, видно, не слышала ни о чем, кроме обувного изобилия в столице.— Во МХАТ на Тверском, потом — туда...

Стволом «калашникова» я показал на небо.

— А шо ж в том мхати? — с ужасом спросила она.

Никакого желания объяснять ей подробности у меня не было.

— Комиссия,— вяло пробормотал я, уже прикидывая, как быть дальше. Удивительно, что она может так спокойно, так уверенно в своей безопасности говорить с человеком, которого полчаса назад пыталась ограбить, может, и убить, крыла матом... Хотя удивляться не приходилось — по нынешним понятиям ничего особенного между нами не произошло, а прежние понятия из сознания этих людей исчезли настолько быстро, что можно предположить — эти понятия и прежде были им не слишком близки. Одно ясно — она не отвяжется от меня до самой площади, рассчитывая так или иначе выманить талоны. Воевать не было сил.

— Пошли,— сказал я, и мы двинулись дальше по Спиридоновке. Проходя мимо подъезда, я покосился на табличку. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно. «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено» — было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее, белые змеи ползли по мостовой все торопливее...

Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опасней.

Но дойти до Тверской нам не удалось.

Справа, из подворотни, от бывшей библиотеки метнулись тени — и через секунду все было кончено.

У меня с шеи сорвали автомат, с треском разодрали ворот свитера.

— Во двор веди.

Подталкивая стволом, меня впихнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать несчастную охотницу за сапогами, которую обыскавший ее отправил к месту сильнейшим пинком в зад.

Во дворе таких же, как мы, очумелых, было, наверное, около пятидесяти. Двор был довольно просторный, мы стояли не тесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать по крайней мере в пяти облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной стражей толпе — наоборот, каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, и на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора.

С четырех сторон двор освещали фары стоящих носами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный ящик помойки, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и негромко прокричал:

— Всем стоять смирна-а! Вы заложники организации Революционный Ка-амитет Северной Персии! Наши товарищи захвачены собаками из Святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны — здесь, в этом дворе. Кто будет кричать — будем резать сейчас!

В толпе раздался тихий стон, и я увидел, как женщина у дальней стены упала на землю — видимо, потеряла сознание. Человек слез с ящика и сгинул. Я сел на землю, многие вокруг тоже стали садиться. В суете эта баба, мое наказанье, оказалась рядом, примостила полы пальто, уселась, придвинулась...

— Прости...— услышал я спустя несколько минут и взглянул на нее. Она плакала, спрятав в руки лицо, и шептала, будто даже не обращаясь ко мне: — Про-

сти, ради Бога прошу... Разве ж я вбила б тебе? Просто от нервов...

Столько наивной прямолинейности, столько детского убогого желания собственного блага было в ее бормотании. Мы сидели обнявшись, я начал дремать... Меня разбудил крик:

— Идут! Идут!!

Я открыл глаза. Кричал, видимо, кто-то из заложников, крик шел с земли. В подворотню входили цепочкой люди — точно такие же заросшие до глаз черными бородами, как те, кто нас захватил. Заложники вскакивали с земли, теснились к краю двора, к стенам... И вдруг над двором поплыло пение. Это было негромкое, но мощное мужское восточное пение, унылый мотив поднимался все выше и выше.. И навстречу вошедшим — я понял, что это и были освобожденные наконец пленные,— ото всех концов двора двинулись те, кто их ждал, каждый подходил к какому-то из прибывших, обнимался и застывал надолго. А пение все росло...

Визг, прорезавший это пение, был страшен, но короток. Толпа заложников отхлынула из дальнего конца двора, и я увидел: двое чернобородых стояли там, по-прежнему обнявшись, но уже глядя не друг на друга, а на третьего. Третий же, низко кланяясь, подавал им что-то, сначала мне показалось — какую-то кастрюлю...

Но это была не кастрюля, а большая меховая шапка, а в шапке отрубленной шеей вверх лежала человеческая голова.

Тело валялось чуть в стороне. Это была женщина. Рядом с телом лезвием в темной луже лежала обычная саперная лопатка на короткой ручке.

Тяжелый выдох — не крик, именно выдох — вознесся над толпой. И в наступившем за ним безмолвии заложники ринулись к подворотне. В центре прохода

тут же возникли двое чернобородых, в руках у них были старинные, может, еще Первой Гражданской — где они их только выкопали! — шашки... Нас, стоявших ближе других к этому проему, толпа несла впереди.

Когда до убийц оставалось уже метра два, я рванул женщину за руку, и мы вместе упали плашмя. Люди пошли над нами, пытаясь свернуть,— первые, следующие уже не пытались... Мы ползли, и за то время, что мы проползли этот метр, я успел заметить многое. Я увидел снизу, как один из встречавших толпу первым опустил клинок и, резко дернув им слева направо, рассек по животу почти пополам переднего в толпе, уже пятившегося, но подпираемого сзади толстого мужчину в коротком плаще... Я успел почувствовать, что ни на меня, ни на женщину люди почти не наступали: их движение уже не было столь общим, ровным стремлением к подворотне, они уже топтались на месте, разворачивались, и мы оказались в мертвой зоне, быстро пустевшей зоне между убивавшими и убиваемыми... Я успел запомнить, что правой рукой все еще намертво цепляюсь за рукав ее пальто... И я успел заметить самое главное: двое с шашками не смотрят вниз, они смотрят на толпу прямо перед собой, и тот, что уже зарезал одного, медленно встряхивает, встряхивает клинок, отбрасывая с него слишком медленно стекающую кровь, и ищет, ищет в толпе следующего, а второй еще не совсем готов и держит шашку — вверх острием, и стоит неустойчиво...

Прямо с земли — я привык за эти годы лежать на земле, ползти, бегать на четвереньках,— прямо с земли, как взбесившаяся ящерица, прыгнул я на этого нерешительного, обеими руками вцепился в его правое запястье, выкрутил... Оружие со звоном, разодрав на плече мою куртку, вывалилось и отлетело в сторону. А я уже что было сил ударил изумленного мальчиш-

ку — смуглого, едва заросшего бородой — коленом в пах и бросил его, обмякшего, на медленно поворачивающееся ко мне лезвие.

Женщина еще стояла на четвереньках, она еще только пыталась встать на ноги, толпа еще только качнулась, чтобы смять и затоптать тех двоих, и убийца еще только пытался сбросить своего неудачливого товарища с бесполезного клинка, и сзади, из глубины двора, прогремела еще только первая очередь в спины рвущихся к выходу людей. Это была очень замедленная жизнь, словно ночь состояла не из холодного ноябрьского воздуха, а из воды. И, как бывает под водой, сильно, неестественно плавно изогнувшись, я тянулся, тянулся — и дотянулся, схватил ее за шиворот, за крепкий кожаный ворот ее очень удобного сейчас пальто и потянул, рванул — и мы выплыли на улицу и длинными, все еще подводными прыжками начали уходить вглубь, в переулок, к Палашевскому рынку...

— Кушать хочется, прямо невозможно,— сказала она.— Второй день не кушала, еще с поезда...

Мы сидели на полусгнившем прилавке пустого рынка, и тени диких собак носились кругами все ближе и ближе. Больше всего я был огорчен потерей автомата: безоружный имел не много шансов дожить до утра на московских улицах.

— Погоди, узнаю время,— сказал я,— может, еще и поедим.

Из внутреннего кармана я достал транзистор. Удивительно — он был совершенно цел. Часов у меня не было уже давно, радио, как и для многих, определяло всю мою жизнь. Часы были изъяты Комиссией еще прошлым летом, слишком часто их использовали во взрывных устройствах... Я нажал кнопку.

«...выражает соболезнование родным и близким погибших, всем пострадавшим при аварии на Красноярской ГЭС. По предварительным данным, во время раз-

рушения плотины погибло около двадцати трех тысяч человек, около восьми тысяч ранено, сотни тысяч остались без крова и продуктов питания в связи с затоплением Красноярской и значительной части прилегающих областей. Общий ущерб составляет, по предварительным подсчетам, около восьмидесяти миллиардов талонов. Ведется расследование. В ближайших выпусках новостей мы передадим очередные сообщения правительственной Комиссии. Московское время — три часа тридцать семь минут. Слушайте концерт из произведений русской классической музыки. Первую симфонию Альфреда Шнитке исполняет...»

Я выключил приемник и потянул ее, спрыгивая с прилавка.

— Тут неподалеку, может, поедим.

Перед тем как позвонить в дверь, я отряхнулся, отряхнул и ее, потом, несмотря на все набирающий силу ветер, стащил и взял на руку куртку — в одежде, разрезанной шашкой, ходить в этот шикарный ночной кабак было не принято.

Открыл почему-то сам хозяин — высокий, худой, моложавый еврей в коротко стриженных седых кудрях, по последней моде одетый во все сшитое у лучших крестовских портных. Фрак на нем сидел безупречно, короткие лакированные сапожки сияли.

— А-а, вольные дети любознательности тоже посещают злачные места,— обрадовался он. Вроде обрадовался... Когда-то в давно сгинувшей жизни, за много лет до катастрофы, мы работали вместе.— Ну, прошу, и даму... познакомишь бедного артельщика с дамой?.. Как это — сам не знаком?!. Очень приятно, Валентин... прошу вас, Юлечка... а вы знаете, что ваш грубый спутник — гений?..

Он продолжал трепаться, как будто мы не знакомы четверть века и будто не в полутемном зале ночного ресторана времен Великого Выравнивания мы встре-

тились, и не стреляют за глухими ставнями неуемные автоматчики — будто сошлись мы в нашем старом доме на Никитском... Как он тогда назывался? Суворовский, кажется... И сейчас выпьем по рюмке коньяку, и платить буду, конечно, я, потому что у него, как всегда, ни копейки...

— Угощаю, угощаю,— шумел Валька,— пока ты не решился ко мне, в артель, я угощаю... а то давай бросай свою бескорыстную борьбу за решительный возврат к светлому прошлому! Не надоело еще за десять тысяч «горбатых»-то ежемесячно бороться?

Мы шли по залу, и я кивал знакомым. Поэт, за последние годы не написавший ни одной короткой строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами Выравнивания с жалованьем в талонах... Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитье после краха профессии в страшном девяносто втором, когда от эпидемии ЭЙДСа они все чуть не вымерли... Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик — он пировал в компании двух атлетов — личной охраны из каратистов в отставке... И многих из этих привидений я почему-то знал — иногда сам удивлялся, откуда у меня такие знакомые и зачем они мне...

— Я и сам с вами выпью,— сказал Валька.— Вы будете пить?

— У тебя ж не подают,— удивился я.— Откуда?

— Ну, конечно,— расхохотался Валька,— а эти все кока-колу пьют, что ли? Так у них на нее денежек не хватит... Могу угостить отличнейшим напитком, одна хитрая артелька наладила из зеленого горошка венгерского... Лучше довоенной «Пшеничной», честно!

— А угловцев не боишься? — поинтересовался я.

— А угловцев бояться — трезвым капитализма дожидаться! — Валька, по обыкновению, повторял самые дешевые из расхожих шуточек. Между тем лакей уже

принес на наш столик блюдо с американской пастеризованной ветчиной, французскими прессованными огурцами и положил возле каждого прибора по куску — огромному, граммов на сто! — настоящего хлеба... Посреди стола уже стоял графин с темно-зеленой жидкостью...

Тем временем на сцене музыканты разбирали инструменты. Черт его знает, как Вальке удалось получить разрешение на пользование мощной, берущей огромное количество энергии усилительной аппаратурой! Но ребята уже настраивались, динамики взревывали... И вот уже вышла певица, зацепила кринолином шнур, другой, наклонила микрофон...

— Вас приветствует рок-шантан «Веселый Валентин»!

И немедленно ударил сумасшедший вальс, зарычали гитары, и певица закричала, конечно же, самую модную этой зимой песню:

Я ждала тебя в семь,
Но часов нет совсем
Ни у тебя,
Ни у меня
Нету часо-ов!
Но что-то тикает внутри,
На это что-то посмотри
И ни тебе,
И ни мине
Не надо слов!

В зале уже подхватывали лихой припев:

Эй-эй, господин генерал!
Зачем ты часы у страны отобрал?

Шантан смеялся над властью...

Когда мы наконец подошли к Страстной, там стояло предрассветное затишье. Только в такие часы и бывало тихо на этом издавна самом буйном в городе месте. На площади копошились рабочие — глянув в их

сторону, я понял, что за взрывы гремели здесь час назад: в очередной раз памятник Пушкину взрывали боевики из «Сталинского союза российской молодежи». И снова у них ничего не вышло: фигура была цела, только слетела с постамента, да обвалились столбики, на которых были укреплены цепи. Рабочие уже зацепили поэта краном и втягивали на место, бетонщики ремонтировали столбики.

— А кто ж то заделал? — спросила Юля. Она, чем ближе к концу шла ночь, задавала все более простые и бесхитростные вопросы — видимо, даже для такой несложной нервной организации ночная прогулка по столице оказалась слишком серьезным испытанием.

— Твои верные сталинцы,— раздраженно ответил я. Все более дурные предчувствия мучили меня этой ночью, и возникала уверенность, что нынешними ночными встречами мои неприятности не кончились.— Твои сталинцы и патриоты...

— А за шо? — изумилась она.— Это ж Пушкин или кто?

— А за то,— уже в бешенстве рявкнул я,— что с государем императором враждовал, над властью смеялся — раз, в семье аморалку развел — два, происхождение имел неславянское — три! Мало тебе? Им достаточно...

— А шо ж неславянское,— еще больше удивилась она,— он разве еврейчик был?

Я не нашелся, что ответить.

— В метро пошли,— сказал я.— А то на улице без оружия долго не проходим...

— А в метро там спокойнее? — спросила она. Видно, после всех переживаний она просто не могла замолчать.— Чего тогда с Брестского вокзала не ехал в метро?

— Ночью там тоже... не рай,— неохотно пояснил

я.— Но все же... хотя бы с оружием не пускают... официально.

Мы уже шли по скользким, сбитым и покореженным ступеням эскалатора. Когда-то я терпеть не мог идти по эскалатору — когда он двигался сам...

Перрон был почти пуст — только вокруг колонн спали оборванцы, голодающие Ярославль и Владимир давно уже жили в столичном метро. Да несколько человек подростков сидели посреди зала кружком, передавая из рук в руки пузырек. Сладкий запах бензина поднимался над ними, один вдруг откинулся и, слегка стукнувшись затылком, застыл, уставившись открытыми глазами в грязный, заросший густой паутиной и рыжей копотью свод.

Поезда с двух сторон подошли почти одновременно — редкие ночные поезда. Один из них остановился, двери раскрылись, но никто не вышел — вагоны были пусты. Другой же, как раз тот, что был нам нужен, к Театральной, прошел станцию, почти не замедляя ход. Впрочем, он и так полз еле-еле, километров семь в час, и поэтому я успел хорошо рассмотреть в чем дело.

В кабине рядом с машинистом стоял парень в мятой шляпе и круглых непроницаемо-черных, как у слепого, очках. С полнейшим безразличием направив очки на проплывающую мимо станцию, парень, сильно уперев, так что натянулась кожа, держал у скулы машиниста пистолет. Длинные косы парня свисали вдоль его щек мертвыми серыми змеями.

В первом вагоне танцевали. Музыка была не слышна, и беззвучный танец был так страшен, что Юля взвизгнула, как щенок, и отвернулась, спрятала лицо... Среди танцующих была девица, голая до пояса, но в старой милицейской фуражке на голове. Были два совсем молодых существа, крепко обнявшиеся и целующиеся взасос, у обоих росли редкие усы и бороды. Был па-

рень, у которого гладко выбритая голова, окрашенная красным, поверх краски была оклеена редкими серебряными звездами. Он танцевал с девушкой, на которой и вовсе ничего не было, даже фуражки. На правой ее ягодице был удивительно умело вытатуирован портрет генерала Панаева, на левой — обнаженный мужской торс от груди до бедер, мужчина был готов к любви... Когда девушка двигалась, генерал Панаев совершал непотребный эротический акт. Заметив, что поезд проезжает освещенную станцию, девушка повернулась так, чтобы вся живая картина была точно против окна, и начала крутить задницей энергичнее... И еще там, конечно, танцевали люди в цепях, во фраках, в пятнистой боевой форме отвоевавших в Трансильвании десантников, в старых костюмах бюрократов восьмидесятых годов, в балетных пачках, даже в древних джинсах... Посередине танцевал немолодой человек в обычном, довольно модном, но явно фабричного отечественного производства фраке. Выражение лица его было — сами скука и уныние, но нетрудно было догадаться, почему его приняли в эту компанию: именно он и держал на плече какой-то дорогой плэйер, беззвучно аккомпанировавший дьявольскому танцу.

Следующие два вагона были темны, там, видимо, спали. Только кое-где вспыхивали огни самокруток да вдруг к темному окну приникла отвратительная рожа: разбитая, в кровоподтеках и ссадинах, с всклокоченными над низким и узким лбом желтыми слипшимися волосами... Рожа была, кажется, женская, но я бы не поручился. Через мгновение рожу обхватила сзади толстая голая рука и оттащила от окна... В этих вагонах собралось дно.

Наконец, последний, пятый, был светел, и не просто светел, а освещен так ярко, как уже давно не освещалось ни одно обычное помещение в городе. В вагоне посередине стоял обычный домашний диван, на диване

сидел обычный человек средних лет в свитере и мятых штанах и, склонивши набок лысую голову, играл на обычной гитаре. Это был знаменитейший сочинитель, песни которого пела вся страна. В веселом поезде везли его, чтобы, остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь. Потом его угостят чем-нибудь из горошка или еще какой-нибудь гадостью. Великий неразборчив и в выпивке, и в знакомствах...

Поезд сгинул в туннеле. Следующий должен был прийти не раньше чем через полчаса. Ждать не было смысла — он мог быть еще страшнее, ночь выдалась беспокойная. Но и идти с голыми руками дальше не хотелось.

И тут меня осенило. Ведь оружие все равно понадобится...

Я растолкал одного из спящих у колонны. Это был тощий, даже более тощий, чем многие его земляки, старик, судя по выговору — из Вологды или откуда-нибудь оттуда, с севера.

— Чего надо-то? — спросил он, приподняв голову на минуту и снова кладя ее на руки, чтобы не тратить силы. Глаза он так и не раскрыл. Я присел рядом на корточки.

— Отец,— шепнул я,— слышь, отец, «калашникова» нет случайно? Лучше десантного... Может, от сына остался? Я бы пятьдесят талонов отдал сразу...

Старик раскрыл глаза, сел. Беззубый от пеллагры рот ощерился.

— Отец, говоришь? От сына? Да я ж сам тебе в сыновья гожусь, дядя!

Я увидел, что он говорит правду, этому человеку было не больше тридцати. Но и голодал он уже не меньше года.

— Калашника нет,— с сожалением сказал он.— Продал уже... А макарку не возьмешь? Хороший, еще

из старых выпусков, я его по дембелю сам у старшины увел... Год назад... Под Унгенами стояли, в резерве, тут объявляют — всё ребята, домой, конец. Я его и увел... Возьми, дядя! За тридцать талей отдам... четыре дня не ел, веришь...

Он уже рылся в лежавшем под головой мешке, тащил оттуда вытертую до блеска кожаную кобуру...

Я отсчитал деньги и, не вставая с корточек, чтобы не демонстрировать особенно покупку, надел кобуру на ремень, под куртку, сунул в карман три обоймы. Потом встал — и поймал ее взгляд.

Юля смотрела на карман, откуда я доставал талоны.

И тогда я понял, что наше совместное путешествие должно кончиться немедленно, чтобы мы оба пока остались в живых.

— Ну, пошли,— сказал я. Она двинулась за мной, как загипнотизированная, ее «горбатые» жгли ее сердце, мои талоны не давали дышать.

Мы вышли из метро, и я сразу свернул за угол подземного перехода. Здесь было абсолютно пусто и почти темно, свет сюда шел только из дверей станции. Я вытащил пистолет, повернулся к ней и медленно поднял ствол на уровень ее темных, так и не узнанного мною цвета глаз.

— Иди,— сказал я,— иди от меня. Талонов от меня не получишь. Хлеб можно купить и на «горбатые», а без лишних сапог обойдешься. Иди. Хватит. Я боюсь тебя.

— А куда ж я пойду? — спросила она довольно спокойно.— Ночь же, бандиты кругом...

— До утра побудь в метро. Утром сообразишь,— сказал я.— Иди. Иначе я выстрелю. Ты не даешь мне выбора.

Она кивнула.

Я стоял и смотрел ей вслед. Вот она толкнула ка-

чающуюся стеклянную дверь, вот начала спускаться по лестнице...

В это время над ухом у меня негромко сказали:

— Ну-с, как вам все это нравится?

Я отскочил, развернулся лицом, нащупал кобуру...

— Да бросьте, вы что, с ума сошли совсем, что ли? — мужчина в темном пальто и кепке-букле пожал плечами. Откуда его черт принес? Из перехода подошел, наверное... Но как тихо!

— Так нравится или не очень? — продолжал мужчина. Лицо его при свете, доходившем через стеклянные двери станции, показалось мне знакомым — хотя кого я только не встречал за жизнь в этом городе...— Вот, радуйтесь, дождались! То, что вы все, вся наша паршивая интеллигенция, так ненавидели, рухнуло. Бесповоротно рухнуло, навсегда. Аномалия, умертвлявшая эту страну почти век, излечена, лечение было единственно возможным — хирургическое... Ну, и вы полагаете выжить после операции? Да и сама операция хороша, а? Госпитальная хирургия: кровь, ошметки мяса, страх и никакого наркоза, заметьте...

— Если вам так уж полюбился ваш убогий образ, то отвечу,— я привалился к облупленному кафелю стены перехода, достал табак, стал сворачивать.— Извольте: мы начали лечение. Длительный, сложный курс терапии. Но последовательности не хватило. А в девяносто втором — метастаз: его превосходительство генерал Панаев. Это — верная смерть. Что же — прикажете ждать, пока этот рак страну сожрет? Или все же хирургия?

— Варварство и идиотизм,— презрительно скривился собеседник. И я вдруг понял, с кем имею дело. По выговору, по всей манере... Вот и встретились! Теперь я уже не смогу отрицать — эта старомодная привычка строить фразу, этот свободный жест, забытые в стране слова...— Варварство и идиотизм,— повторил он.— Как

и собственно отечественная медицина. Все на уровне каменного века. А разве лучше умереть зарезанным, чем естественно? По-моему, вам еще час назад представлялась возможность лечь под нож, но вы постарались ее избежать...

— И вы?..— удивился я.

— Едва ноги унес,— вздохнул он. И засмеялся мягким дворянским смешком.— А вы, надобно признать, весьма тут поднаторели выходить из отчаянных ситуаций. Подучились! М-да... Вот вам и еще один светлый праздник освобождения. Погромы, истребительные отряды, голод и общий ужас... Потом, естественно, разруха, потом железной рукой восстановление... Бывших партийных функционеров уже по ночам увозит Комиссия. Все ради будущего светлого царства любви и, главное — справедливости. Но... Время будет идти... Через десять лет, если доживете, будете отвечать на вопрос: чем занимались до девяносто второго года? А не служили в советских учреждениях? А не состояли в партии или приравненных к ней организациях? Не ответите — сосед поможет...

— Ведь не хотели мы этого! — заорал я и закашлялся дымом.— Но генерал же!.. Потом — генералиссимус? Мы побоимся крови, а он? И опять пойдем под нож, как бараны?! По традиции...

— Не орите. Сталинцев накличете или «витязей» черноподдевочных,— холодно посоветовал собеседник.— И что это за дрянь вы курите? Угощайтесь... Он протянул пачку «галуа».— Угощайтесь, угощайтесь, у меня пока еще есть... Да-с, ничего вы значит, так и не поняли... Черт вас раздери, любезные соплеменники... Вы когда-нибудь научитесь терапии-то европейской? Почему там бастуют веками — и ничего, а у нас день бастуют, на второй — друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоища? Почему там парламентская борьба, а у нас «воронки» по но-

чам ездят? А вам, смутьянам книжным, все мало, все мало! Подстрекаете, подталкиваете... Ату его, он сталинист! Гоните его, он консерватор! Ну, прогнали консерваторов, а они-то — кон-сер-ва-торы! То есть хотели, чтобы оставалось все, как было, чтобы хуже не стало... Дождались операции? Ну, теперь крови не удивляйтесь, особенно своей. Живой-то орган кровоточит сильнее...

Злым щелчком он выбросил свой окурок, помолчал... Я докуривал сигарету тоже молча, забытый восхитительный вкус настоящего табака сбивал мысли.

— Ладно,— вздохнул он,— что теперь говорить... Да вы ведь и согласны со мною, я же вижу. Так что, если захотите изменить свою жизнь,— милости прошу. Помогу, чем сумею. Найти меня несложно...— небрежным движением он сунул в карман моей куртки твердый бумажный прямоугольник.— Здесь и телефон, и адрес. На всякий случай по телефону себя не называйте, просто попросите, кто подойдет, о встрече в известном месте. Это значит — я буду вас ждать здесь же, в первую после звонка ночь, вот в такое же время... Засим — желаю здравствовать.

Он повернулся и пошел к дальней лестнице перехода. Из-под пальто его были видны вечерние брюки с атласными лампасами и лакированные туфли, вовсе неуместные ночью в районе Страстной.

— Тут вы, конечно, немножно перегнули, Юрий Ильич,— сказал Игорь Васильевич и, как обычно, засмеялся.— Женщину под пистолетом гнать не стоило. Тем более и пистолет-то... купленный. А вы знаете, у кого, кстати, вы его купили?

— Дезертир,— сказал строгий Сергей Иванович.— Совершенно точно дезертир и, как он же сам признал-

ся, расхититель военного имущества. Зря вы рисковали, Юрий Ильич, зря...

— Мы вас, если что, конечно, в обиду не дадим, позвоним или подъедем, если нужно,— сказал Игорь Васильевич.— Но другому бы пришлось отвечать...

— Вот и не нужно за меня заступаться,— упрямо сказал я и придавил сигарету в пепельнице. На этот раз мы сидели уже не в гостиничном номере, а в какой-то квартире в одном из старых, давно вышедших из-под капитального ремонта домов на Садовой. Квартира была полупустая, только большой холодильник шумел в прихожей да в углу большой комнаты стояли два казенных кресла, низкий столик и диван с одним отломанным валиком. Окна были завешаны желтыми газетами, сквозь газеты лупило солнце... Но пепельница на столике, естественно, имелась.— Нет уж, не надо меня защищать, прошу вас...

— Да как хотите, Юрий Ильич,— воскликнул Игорь Васильевич,— как хотите, мы ж понимаем, что вы чечеловек самостоятельный, независимый, смелый, талантливый, гордый, неподкупный...

— И вообще,— закончил Сергей Иванович, который от раза к разу становился все строже и строже, все важнее и важнее, покрикивал и на Игоря Васильевича, и на меня.— Но теперь вопрос другой: ну, прогнали вы эту... даму. И дальше что? Почему же вы дальше не написали, а, Юрий Ильич?

— Что вы имеете в виду? — спросил я, чтобы как-то потянуть время, чтобы, может, снова свести разговор к невнятице, к неконкретной лояльности.— Вообще-то больше и не было ничего... Ну, прохожие разные... бандиты...

— Нет, Юрий Ильич,— тут посерьезнел и Игорь Васильевич,— с бандитами все уже ясно. Вы нам напрасно не доверяете, Юрий Ильич. Времена теперь не те, мы ж вам сесть вот предлагаем, а вы... Мы сейчас

в трудном положении, Юрий Ильич, а вы не верите. Пока с нами говорите — верите, а потом, как уйдете, так вас кто-то и настроит против нас. Может, жена?

— Почему жена? — я чувствовал себя все увереннее по мере того, как нарастал их напор.— Вот вы говорите, времена не те. А если снова будут те?..

— Что ж вы думаете, Юрий Ильич, мы тогда здесь дыбу поставим, что ли? — обиделся Сергей Иванович.— Разве можно так рассуждать? Вы же нас, лично нас, перед собой видите? Похоже, что мы на такое способны?

— Ну, лично вы, может, и не способны,— замялся я,— но редакция в целом...

— И никто в редакции, уверяю вас! — взвился Игорь Васильевич.— Это все у вас старые стереотипы, как теперь говорят, образ друга... то есть врага... А у нас теперь все кадры сменились, народ грамотный, вон Сергей даже три института кончил, правильно, Сергей?

— Ну,— сказал Сергей Иванович.— А раньше у нас даже подполковники не все читать умели. Вот Игорь Васильевич лично помнит одного, он даже «расстрел» через одно «эс» писал, представляете?

— Представляю,— сказал я, и мы все втроем засмеялись, понимая друг друга...

— Вот я и говорю,— сквозь смех произнес Игорь Васильевич,— если у вас адресок и телефон этого... ну, который вам предлагал кое-что... если остались, вы поделитесь, вам же и легче будет...

— Это ж ведь он и есть,— сокрушенно вздохнул Сергей Иванович,— экстраполятор ихний. Причем тесно связанный с ихними пресловутыми редакциями. С нашими, извиняюсь, коллегами по ту сторону исторических баррикад. Он только числится экстраполятором, а на самом деле имеет звание старшего редактора. Его уже один раз выдворяли даже.

— Действительно,— я ляпнул и остановился.— Действительно...

— Что действительно? — Сергей Иванович быстро встал с дивана, на уголке которого он по обычаю устроился, подошел ко мне вплотную, нагнулся — почти лицом к лицу. Пацан этот быстро повзрослел. Губы у него уже были не такие пухлые, а толстые щеки стали обвисать, он был все так же важен, но уже совсем не смешон.— Что действительно? Говорите!

— Я его вроде и раньше видел...— мямлил я.— Довольно известный экстраполятор... Представляет здесь какой-то их институт. Не помню...

— А мы помним! — Игорь Васильевич тоже склонился ко мне, два эти лица теперь были так близко к моему, что черты их даже искажались.— Помним: Николай Михайлович Лажечников, потомок эмигрантов, Николас Лаже, представитель института экстраполяции Европейского Сообщества, на самом деле — старший редактор одной из редакций! Адрес, телефон! Быстрее, Юрий Ильич!

— Я потерял,— пробормотал я.— Выронил из куртки...

И тут же атмосфера в комнате снова стала очаровательно дружеской.

— Ну, это совсем другое дело! — опять весь сморщился в сплошную улыбку Игорь Васильевич.— Так бы и сказали! Что вы, ей-богу, Юрий Ильич? Это ж полностью меняет дело... Потерять каждый может.

— Вот я, например, однажды шесть томов совершенно секретного дела потерял,— засмеялся и Сергей Иванович,— когда еще молодым был...

— Точно! — хлопнул себя по колену Игорь Васильевич.— Ровно восемнадцать лет назад, когда его только из полковников в стажеры перевели, точно, Сергей?

— Так точно,— подтвердил Сергей Иванович.— Потерял — и ничего. Потерять любой может...

— Из полковников — в стажеры,— повторил я. Ум у меня вовсе заходил за разум.

— Ага,— кивнул Сергей Иванович,— у меня тогда еще только четыре класса было, я вечернюю начальную заканчивал... Ну, полковник, сами понимаете: корову через «ять» писал, одно дело знал — иголки да ногти... А уж потом в один институт поступил, во второй, и пошло... Уже восемнадцатый год стажером. А что? Почему вы этим заинтересовались?

— Я по-онял,— хитро протянул Игорь Васильевич.— Юрия Ильича мое звание интересует, правильно? Так я вам скажу: майор я. В восьмой класс перешел только что, с отличием... Еще вопросы, как говорится, будут?

— Никак нет,— ответил я.— Все ясно. А вы, Сергей Иванович, значит...

— Как двадцать пять лет отслужу,— кивнул Сергей Иванович,— так всех моих институтов как не бывало. Получу снова первое офицерское звание — и в вечернюю. Арифметика, география, то-се...

— Вот так, Юрий Ильич,— заключил Игорь Васильевич.— Обновляем помаленьку кадры. А вы думали, у нас не меняется ничего... Ну, я вижу, вы спешите. Так что пожелаю... А найдете адресок или там телефончик — звоните, ладно?

— Непременно позвоню,— пообещал я, решительно направляясь к двери.

— Или мы позвоним,— сказал Сергей Иванович. Оба они шли вместе со мной, чтобы еще раз пожать мне руку. Мы нежно простились, и я вышел, тихонько притворив за собою дверь. Перед этим я оглянулся. Они стояли рядом и смотрели мне вслед. Выглядели они сегодня внушительно: оба были в форме, с ромба-

ми в петлицах и наградами, в новеньких ремнях и хорошо начищенных сапогах.

Над Садовой желтой гарью светилось небо, жара туманила перспективу, и бешено спешащие машины кучей заворачивали на Маяковку, стараясь прорваться на Брестскую, пока пешеходам не дали зеленый.

Жена была дома, она сидела на кухне, перед нею лежал английский роман и стоял стакан чая с молоком.

— Идем,— сказал я.— Собирайся. У нас уже нет и не будет времени.

Мы вышли на Страстную. Холод перед рассветом был лютый, я снова чертыхнулся: несмотря на мои настроения, жена оделась слишком легко. И, конечно же, брюки она надела старые! Вот порвутся здесь на третий день, что будем делать тогда?.. Но объяснить ей это было невозможно.

— Давай пойдем...— она показала туда, где у края площади уже собиралась небольшая толпа. Там вывешивали сегодняшние «Ведомости». Времени у нас уже оставалось немного, но на минуту подойти мы могли.

Однако протиснуться к газете не удавалось. Стоящие сзади переговаривались:

— Что там сегодня?

— Вроде ничего интересного... Только, говорят, «Тайная биография генерала» сильная...

— Так и называется? Ну, они дают...

— Подумаешь, называется... Они там пишут, что он в партии состоял! Раскопали... Вроде только в девяностом вышел... Даже в райкоме каком-то работал.

— Не может быть. Кто б им позволил такое писать... А еще что?

— Отрывок из старой какой-то рукописи. Не то в восемьдесят восьмом написано, не то в шестьдесят восьмом... А, говорят, сильно написано, как будто вчера, про нас... «Невозвращенец» называется, что ли...

— А написал кто?

— Не помню...

Пробиться к газете я так и не смог. Да мне и не очень хотелось: я точно знал, о каком отрывке речь.

— Ну, наслушалась? — я взял жену под руку.— Пошли, пошли, нечего здесь больше делать.

Мы прошли к Тверской метров десять, когда я понял, что и на этот раз я ухватил счастье за самый последний, ускользающий поручень. Позади раздался шум, мы обернулись...

Толпа у газетного стенда даже не успела дрогнуть. Со стороны Большой Дмитровки раздался частый топот — и в мгновение все читающие оказались окружены плотным кольцом набежавших «витязей» в черных поддевках. В руках у каждого был аккуратно выструганный, светящийся в темноте свежим деревом кол. Кольцо стало сжиматься, как бы выдавливая из себя время от времени редких удачников, раздались негромкие приговоры:

— Жид... жид... жид... так, крещеный, необрезанный, выходи... жид... опять жидовка... русская? «Слово о полку» читай. Сколько знаешь... так, врешь, мало помнишь, стой... жид, жид, жид...

Мы свернули на Тверскую.

В это время где-то вдалеке, в стороне Рогожской и Владимирки раздался звук, рванулся вверх — и тут же распался на эхо, несущееся со всех сторон.

Жена остановилась, в ужасе оглядываясь, поднимая голову к старым облакам на светло-лиловом небе.

— Что это? — спросила она.— Воздушная тревога? Зачем же мы сюда бежали, здесь хуже...

— Просто ты уже забыла,— я крепко прижал ее руку, ей трудно было привыкать.— Это обычные заводские гудки. Видишь, короткие? Значит, сегодня стачка продолжается и за Москву-реку не пройдешь — на мостах танки...

Было уже почти светло. По середине улицы ехали тяжелые грузовики под брезентом, в них сидели пятнистые солдаты. Вся колонна постепенно втягивалась, сворачивая в Чернышевский переулок.

— Куда это их? — жена оглянулась.

— На молебен, наверное, к Воскресению на Успенском,— я не вдавался в подробности, постепенно сама освоится.— Перед отправкой в Трансильванию... Как положено: полковой молебен за победу православного оружия... Идем, идем, надо спешить.

Мы подошли к площади ровно в половине восьмого, в проезд между музеями уже почти невозможно было втиснуться. Отсюда толпа, заполнявшая площадь, казалась сплошной и аморфной, но я знал, что сверху, если бы можно было взглянуть хотя бы с одной из башен или с собора, стали бы видны кольца и извивы этой очереди, плотно слипшиеся зигзаги...

Вместе с боем курантов толпа шарахнулась и отступила, мы едва успели отскочить, чтобы нас не смяли. Теперь мы снова оказались на Манежной. Я знал, что сейчас происходит: это со стороны Маросейки несется кортеж.

Вот они влетели на площадь — семеро всадников клином, на одинаковых белых конях, в форменных белых полушубках, а следом — одинокий танк, в белой же зимней окраске, с ворочающейся вправо-влево, на толпу, башней. Вот засвистела охрана у Спасских ворот — и все, проехали, скрылись... Рабочий день генерала Панаева начался.

— Это правда, что его сопровождают всадники? — спросила жена.— Почему?

— Горючего нет,— ответил я. Про всадников она уже успела услышать от кого-то...— Тише... Сейчас объявят.

Над площадью раздался мощный радиоголос:

— К сведению господ ожидающих! Сегодня в Цент-

ральных Рядах поступают в выдачу: мясо яка по семьдесят талонов за килограмм, по четыреста граммов на получающего, крупа саго по двенадцать талонов за килограмм, по килограмму на получающего, хлеб общегражданский по десять талонов за килограмм, производства Общего Рынка — по килограмму, сапоги женские зимние, по шестьсот талонов, производство США — всего четыреста пар. Господа, соблюдайте очередь! Участники событий девяносто второго года и бойцы Выравнивания первой степени имеют право на получение всех товаров, за исключением сапог, вне очереди. Господа, соблюдайте очередь!..

— Идем,— жена дергала меня за руку.— Идем, ты же знаешь, я боюсь толпы. Как-нибудь проживем?

— Проживем,— согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся.

Мы пошли домой — пошли вверх по Тверской, свернули на Неглинную, потом в Петровские линии... Ветер утих, тонкий снег под первым же утренним солнцем быстро таял, заливая разбитый асфальт неглубокой водой. Мы шли вон от площадки, к которой я добирался всю ночь и добрался живым только чудом. Но жена не знала этого — она ведь шла только от Страстной...

Обгоняя нас и навстречу шли люди, среди них все больше попадались в одинаковых телогрейках защитного цвета. Это были беглецы из Замоскворечья, из Вешняков и Измайлова, из рабочих районов, где уже вовсю орудовали «отряды контроля» — боевики Партии Социального Распределения. Там отбирали все до рубашки и выдавали защитную форму. Там у проходных бастующих второй месяц заводов варили в походных кухнях и разливали бесплатный борщ. И иногда с котелком в руках в очереди появлялся сам Седых, могущественный глава Партии, легендарный рабочий лидер...

— Проживем,— сказал я, сунул руку в карман

куртки и вытащил твердый бумажный прямоугольничек. Телефон, адрес... «...Если захотите изменить свою жизнь — милости прошу...» С трудом перегибая толстую бумагу, я мелко изорвал карточку и швырнул обрывки на водосток. Половина из них тут же унеслась в решетку вместе с талой грязью, остальные поплыли вдоль тротуара...

— Смотри,— сказала жена,— какая странная машина.

Я поднял глаза. От дальнего перекрестка нам навстречу медленно ехали разбитые «Жигули», правого крыла у них не было совсем, левое было смято, по переднему стеклу разошлась густая сетка трещин. За рулем, как всегда щурясь, сидел Игорь Васильевич. Сергей Иванович, сидящий на втором переднем месте, высунулся в боковое окно и укоряюще грозил мне пальцем. В руке он держал сильно ободранный никелированный «тэтэ», поэтому грозить пальцем ему было неудобно, приходилось снимать этот довольно пухлый указательный палец со спуска, сильно выставлять его в сторону и качать всей кистью с большим тяжелым пистолетом.

Я покосился на жену. Близоруко щурясь, она присматривалась к едущим навстречу. Волосы из-под вязаной шапки выбились, очки слезли почти на самый кончик носа, неистребимый румянец пылал на щеках... И здесь у нее был всегдашний вид посторонней. На месте она была бы, конечно, только там, куда звал нас ночной барин... Там пьют чай с молоком, читают семейные романы и не признают открытых страстей. Скучно, но достойно. Что ж, телефон я вспомню, если понадобится...

— Это твои знакомые? — спросила она.— Кто это? Из вестника? А что у него в руках? Ну, что ты молчишь? С тобой невозможно разговаривать...

— Знакомые,— сказал я.— Но здесь я их почему-то

совсем не боюсь... Здесь все будет нормально. Главное — что мы уже не там.

«Жигули» подъехали совсем близко, Сергей Иванович стал опускать руку. Я втолкнул жену в нишу, мимо которой мы как раз проходили. Когда-то здесь, наверное, стояла каменная ваза, теперь ниша пригодилась для человека.

Я толкнул ее — и рухнул на землю, уже расстегнув кобуру под курткой, уже готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык и в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле.

Май-июнь, 1988.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Викторович Савинков /В. Ропшин/
КОНЬ ВОРОНОЙ

Сергей Евгеньевич Каледин
СТРОЙБАТ

Александр Абрамович Кабаков
НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Повести

Редактор *Т. А. Поздеева*
Художественный редактор *А. Р. Балтин*
Технический редактор *И. А. Колесникова*
Корректоры *Н. И. Абдасова, Н. М. Соловьёва*

Н/К. Сдано в набор 13.02.90. Подписано к печати 08.05.90. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,75. Усл. кр.-отт. 9,08. Уч.-изд. л. 8,88. Тираж 100 000 экз. Заказ № 088. Цена 1 руб.

Издательство «Удмуртия». Ижевское полиграфическое объединение Государственного комитета Удмуртской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Адрес издательства и полиграфобъединения: 426057, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13.

1 р.